



"Девочка и птицелет"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Владимир Киселев

Девочка и птицелет

Роман

Все, что происходит с человеком после четырнадцати лет,
не имеет большого значения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это все взрослые выдумали про счастливое детство. Чтобы им было не так стыдно. Есть только счастливая взрослость. А счастливого детства нет и не может быть. Спросите у любого ребенка.

Начнем с работы. У взрослых в нашей стране семичасовой рабочий день. У школьника — шесть уроков в школе, а потом еще, даже если учиться на тройки, как я, нужно дома готовить уроки не меньше трех часов. Значит, выходит девятичасовой рабочий день, как в самых отсталых колониальных странах.

Когда у взрослого что-нибудь не получается на работе, ему все сочувствуют, все его жалеют. Когда мамин отдел завалил какой-то проект, так все говорили: "Ах, Елена Павловна, как мы вас понимаем, не нужно ли вам какой-нибудь помощи, не поедете ли вы на курорт?", а мама в ответ делала жалкие губки и говорила, что она очень переживает.

Но когда я схватила двойку по алгебре, весь двор смеялся, и, кто бы меня ни встретил, все спрашивали, на какой вопрос я не ответила, и продавщица мороженого — ей-то какое дело! — сказала, что двоечницам мороженое вредит.

Но самое худшее не это. Самое худшее... Даже в самых отсталых капиталистических государствах, по-моему, уже отменены физические наказания. Для взрослых. А детей бьют. Даже в нашей стране. Даже у нас взрослый сильный человек может ударить ребенка. Ударить девочку. И это называется счастливое детство!

Я прижалась ухом к стене и немного послушала музыку. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире — вход в нее из другого подъезда — вечером всегда негромко играет радио. Я думаю, что радиоприемник стоит у самой стены на полированном, блестящем, как автомашина, столике, что это большой приемник с зеленым глазком, который светится в темноте. Но, может быть, это и простой репродуктор. Я слишком часто разочаровывалась в последнее время.

Из кухни вернулись мои родители. Они там мыли посуду. Мама и отчим. Я всегда звала отчима папой, но теперь я поняла: он мне все-таки отчим. И завтра утром, когда он со мной поздоровается, я ему так и скажу: "Здравствуй, отчим!" Или: "Здравствуй, Николай Иванович". Не папа, а Николай Иванович. Я ему этого никогда не прощу. Никогда!..

Мама заглянула в мою комнату, прислушалась. У нас однокомнатная малометражная квартира, а для меня комнату сделали, отгородив угол двумя шкафами — платяным и книжным. Здесь помещаются только моя кровать и тумбочка, уроки я делаю за столиком,

который стоит возле окна.

— Она уже спит, — сказала мама шепотом и задернула занавеску между шкапами и стенкой так, чтобы на меня не падал свет. — И незачем из этого устраивать трагедию. Она уже большая девочка, и ничего с ней не случится...

— С нами случится, — сказал папа. — Уже случилось. Со мной. Я никогда себе не прощу, что ударил девочку. Ни себе, ни тебе. Ты в этом виновата.

— Еще бы, — сказала мама и неприятно, ненатурально засмеялась, как смеется она всегда, когда собирается заплакать. — Если бы это была твоя родная дочь, ты бы ее уже давно побил. И не так. Но ты к ней относишься, как к чужой. Ты ее пальцем никогда не тронул, голоса не повысил. Только и слышно: Оленьке то, Оленьке се. А она совсем от рук отбилась.

— О боже мой! — сказал папа, и я вдруг подумала, что это не мама, а он может сейчас заплакать. — В жизни мне не было так гадко и стыдно, так стыдно и гадко, как сейчас. Ведь я люблю ее. Понимаешь: люблю. И ничего плохого в ней не вижу. И я ударил ее в день ее рождения!..

В самом деле, сегодня день моего рождения. Сегодня, 21 октября, мне исполнилось тринадцать лет. И я тихонько, беззвучно заплакала.

Странно, но этот день моего рождения и начался и закончился слезами. Первый раз я заплакала в школе на первом уроке. Плакала, правда, не одна я, а все наши девочки и некоторые мальчики. Наша русачка Елизавета Карловна рассказывала нам про Михаила Лермонтова, а когда она рассказывает про этого писателя и еще про Николая Островского, все всегда плачут, и даже из других школ приходят послушать. И всем всегда хочется стать лучше, и учиться только на "пятерки", и сделать что-нибудь такое хорошее, чтоб это было полезно всему человечеству.

И на первой перемене Витя Сердюк сделал мне подарок ко дню рождения, а я помирилась с Таней Нечаевой, с которой не разговаривала два дня.

На следующем уроке нага математик — зовут его, как Ворошилова, Климент Ефремович — спросил у меня: "Ну как, именинница, готова отвечать?" — и, когда я ответила, что готова, задал вопрос по домашнему заданию, очень легкий, и поставил мне четверку.

Когда я вернулась домой, я уже застала маму — она отпросилась с работы пораньше, чтобы все приготовить к вечеру. На кухне приятно пахло ванилью и еще яйцами, когда их разделяют на желток и белок, а желтки растирают в кружке с сахаром.

— Садись пока за уроки, — сказала мама.

Я пошла в комнату, села за стол, раскрыла учебник по химии, но учить химию мне не хотелось, и я решила пока приготовить прибор для получения ацетилена. Этот прибор нам был нужен для опыта, который мы задумали с ребятами, а конструкцию я придумала сама. Очень простую. Взять бутылку из-под молока с широким горлышком, на треть налить водой. Затем взять листик промокательной бумаги и засунуть его в бутылку так, чтобы края оставались снаружи, а в бутылке получился как бы мешочек из этой бумаги. В мешочек этот насыпать карбида — того самого, который насыпают в свои аппараты сварщики на соседней стройке, а сверху все плотно заткнуть большой пробкой с трубкой. Теперь ваш прибор готов к действию в любую минуту. Достаточно перевернуть бутылку так, чтобы вода размочила промокательную бумагу, и начнет выделяться газ.

Я приготовила такой прибор, примерила пробку, так что оставалось только проделать в ней гвоздем тонкое отверстие и вогнать туда стеклянную трубку, но в это время мама сказала:

— Сбегай вниз за сметаной.

Гастроном помещается в нашем доме. Купить сметану — минутное дело, но, когда я вернулась, я увидела, что за это короткое время мама успела перевернуть мой прибор, хотя я поставила его под кухонный столик.

Перед моими глазами, как на экране, вспыхнула иллюстрация № 71 из нашего учебника химии. Там изображен мальчик, который закрыл лицо руками, а перед ним на столе со взрывом вдребезги разлетается колба.

Я тоже невольно потянулась к лицу руками, но сейчас же бросилась к маме, вырвала у нее из рук полотенце, подбежала к бутылке и только успела обмотать ее полотенцем, чтобы осколки стекла не разлетелись в стороны и не ранили нас, как раздался громкий, словно пушечный, выстрел, пробку вышибло из бутылки, она ударилась в потолок, и вслед за пробкой до самого потолка взлетела струя воды, смешанной с карбидом.

Мама даже не догадывалась, от какой опасности я ее спасла, а я не хотела ей этого говорить. И вместо того чтобы радоваться, что все обошлось так благополучно, она накричала на меня, сказала, чтоб я шла гулять, потому что от меня никакой пользы, и что в моем возрасте в подготовке к собственным именинам она принимала значительно большее участие.

Вечером, как всегда, на мои именины были приглашены совсем не мои подруги и товарищи, а друзья моих родителей — взрослые люди, среди которых были и такие, которых я видела в первый раз.

Почему детские именины всегда у нас празднуют не дети, а взрослые — мне совершенно непонятно.

Взрослые пили вино и водку, ели холодное, винегрет и фаршированную рыбу, а затем перед сладким стали петь. Запевала, как всегда, жена папиного начальника Вера Сергеевна, немолодая женщина с неестественно громким голосом, с таким громким голосом, словно у нее в теле нет ни сердца, ни желудка, ни других человеческих органов, а одни только легкие.

Они хором весело пели песню про Стеньку Разина, а я смотрела на них и удивлялась: как им не стыдно? Ведь это ужасно, и не может быть, чтобы так было на самом деле. Что получается? Степан Разин полюбил персидскую княжну, женился на ней, так они и поют "свадьбу новую справляет", и достаточно было кому-то сказать, что он "наутро бабой стал", как он схватил девушку и бросил ее в реку. Утопил. И об этом поют в песне. Не осуждая Степана Разина, а восхищаясь им! Очень весело.

Но настоящие неприятности начались с чая. Витя Сердюк подарил мне к именинам две чайные ложечки. Он сам их сделал. Он мне еще прежде рассказал, как их делают: очень просто. Нужно взять обыкновенную чайную ложку и оттиснуть ее на густом растворе алебаstra. С двух сторон. Таким образом получится форма. Затем в эту форму нужно залить сплав из сурьмы с баббитом. Он очень легкоплавкий, этот сплав. А новую ложечку легко зачистить наждачной бумагой, всякие там неровности. Вообще эти ложечки готовят для фокусов и розыгрышей.

Я спрятала ложечки под подушку. И забыла о них. А мама как раз вздумала поменять наволочку, увидела чайные ложечки и даже не удивилась тому, как они могли попасть в мою кровать. Она уже привыкла, что на моей кровати можно найти не только книги, тетради,

обертки от конфет и зверьков, которых я люблю лепить из пластилина, но даже живую ящерицу в коробке из-под папирос. А что мне остается делать, если у меня нет своего места, и все, что я кладу на стол, мама немедленно убирает? Так и в этот раз. Она подобрала ложечки и положила их к остальным в ящик буфета.

Надо же было случиться, чтобы Витина ложечка попала как раз папиному заведующему отделом. И когда он стал размешивать сахар в чае, то увидел вдруг, что в руках у него только ручка от ложечки, а сама ложечка расплавилась и серебристо-черным слоем лежит на дне стакана. Все стали смеяться и довольно подозрительно рассматривать свои ложечки. Мог бы, конечно, посмеяться и папин начальник — ведь ничего страшного не произошло, сплав этот не ядовит и не имеет никакого вкуса или запаха. Но папин начальник, по-видимому, относится к числу людей, которые любят посмеяться над другими и совершенно не переносят, когда смеются над ними. Он покраснел так, что уши у него стали фиолетового цвета, как будто их облили чернилами, и сказал, что никогда себе не позволяет шуток над своими гостями и поэтому не любит, когда шутят над ним, если он приходит в гости. В общем, и папе и маме было очень неприятно, а к тому же, когда я увидела уши папиного начальника, я почувствовала, что просто лопну, ну, по-настоящему лопну от смеха. Я понимала, что смеяться неприлично, что смеяться над взрослыми нехорошо, но ничего не могла с собой сделать, пока не применила способ, который посоветовал мне когда-то Витя: если рассмеешься в школе на уроке и чувствуешь, что не можешь остановиться, нужно схватить что-нибудь острое булавку, иголку, циркуль и сильнее уколоть себя в ногу, ниже колени, куда врачи стучают молоточком. От боли или еще от чего-то смех сразу проходит. У меня под рукой не было булавки, я незаметно ухватила штопор и кольнула себя ниже колени, да так сильно, что пошла кровь. Я залепила ранку краешком бумажной салфетки, и мне уже было не до смеха.

Тем временем мама принесла именинный пирог, и я сразу заподозрила что-то неладное. Как только кто-либо попробует ломтик, положенный ему на тарелку, так сразу отодвинет эту тарелку от себя, вроде бы даже с испугом, но молча. И только жена папиного начальника Вера Сергеевна сказала громко и решительно:

— Елена Павловна, должна вас огорчить, но в ваш пирог, в тесто, очевидно, попало тухлое яйцо.

— Не может быть, — сказала мама и покраснела.

Я отломил краешек от ломтика пирога и положила в рот. Ну, знаете... Впечатление было такое, словно туда попало не одно, а сто тысяч тухлых яиц.

И тут я вдруг все поняла. Карбид... Когда газом выбило пробку из моего прибора, карбид с водой взлетел под самый потолок и, очевидно, попал в тесто. Я посмотрела на серьезные, озабоченные лица гостей, вспомнила, что каждый из них откусил хоть по кусочку, и снова ухватилась за штопор. Но во второй раз мне им не пришлось воспользоваться.

— Это все ты, — сказала мама. — Это все твои опыты... Мама закусила губу, и на глазах у нее показались слезы. А когда плачет мама, никому не хочется смеяться.

Чтобы как-то сгладить неловкость, папа стал показывать гостям фотопортрет мамы, который он недавно сам сделал. Мама и в жизни очень красивая и молодая, а на портрете она получилась совсем красавицей. На портрете она набросила на плечи платок, наклонила набок и назад голову, над головой подняла обеими руками бубен, зубы блестят, глаза блестят — Кармен, да и только.

Гости хвалили портрет, а папа рассказывал, что аппаратом "Комсомолец", очень простым, с очень примитивным объективом, можно делать прекрасные снимки, что этот аппарат он мне подарил еще в прошлом году на день рождения, что я тоже хорошо научилась фотографировать, и показал, какие я сделала снимки.

Он не сказал при этом, правда, что проявляла фотографии и печатала их не я, а он сам.

Папа моложе мамы на два года. Я узнала об этом случайно, мама об этом никогда не говорит, и среди наших гостей папа выглядит совсем как мальчик. В нашей школе есть десятиклассники, так у них вид солиднее. У них растут усы, а папа усы бреет.

И сейчас папа быстро и невнятно — когда он волнуется, у него всегда слово налазит на слово — рассказывал о том, что аппаратом "Комсомолец" можно делать превосходные снимки даже при обыкновенном вечернем освещении, без подсветки. А я почувствовала, что сейчас произойдет самое ужасное, и хотя я по-прежнему сидела на стуле за столом, мне показалось, что я сжалась в крохотный комочек, и внутри во мне что-то тихо-тихо пищало, как пищит мышь, зажата в кулак. И папа действительно сказал:

— Вот сейчас Оля сфотографирует всех нас. Сделаем на память такой групповой снимок. Принеси аппарат и штатив, — сказал он мне.

— У меня больше нет аппарата, — ответила я.

— А где же он? — удивился папа. Лучше бы он этого не спрашивал. Я посмотрела на стол и сказала:

— Я его продала.

Папин начальник вдруг громко стал рассказывать, что он недавно ездил на открытие охотничьего сезона и убил одну утку, что у него было разрешение убить кабана, но кабан ему, к сожалению, не попался и что волка можно бить в любое время года и без всякого разрешения. Он, по-видимому, был все-таки хорошим человеком, этот папин начальник. Всем вдруг стало очень интересно, много ли еще осталось волков, обо мне все словно забыли, а папин начальник рассказывал, что в литературе было неправильное представление о том, что волки достигают 60 — 70 килограммов, а фактически вес наиболее крупных лесных волков редко превышает 50 килограммов, что в позапрошлом году в Советском Союзе было истреблено более 28 тысяч волков, а в прошлом году 26 тысяч, а последние данные ему неизвестны, но что ему лично волки ни разу в жизни не встречались.

И под этот разговор о волках, и об охоте, и о том, что охотников намного больше, чем волков, гости стали расходиться, а я по-прежнему сидела за столом и собирала с тарелки крошки от пирога с карбидом и клала их в рот.

И когда гости разошлись, лицо у мамы стало некрасивым, и она начала кричать, что я совсем от рук отбилась, что я делаю все назло, что я, может быть, связалась с темными людьми и уже ворую из дома ценные вещи (хотя фотоаппарат был мой собственный), что папа меня не воспитывает, что он меня балует, и чтобы он спросил у меня, зачем я продала фотоаппарат и куда я дела деньги.

— Зачем ты продала фотоаппарат и куда ты дела деньги? — спросил папа, глядя не на меня, а на пол. Я тоже смотрела не на него, а на пол, но я чувствовала, куда он смотрит.

— Я не скажу, — ответила я. — Это тайна.

И тут он меня ударил. По щеке. Ладонью. Очень больно. И закричал визгливым голосом, очень похожим на голос мамы. Вообще, когда он злится, он становится похожим на маму. И вообще все люди, когда злятся, становятся похожими друг на друга.

— Я тебе покажу! Иди спать!..

Он по-прежнему не смотрел на меня и тер рукой щеку, как будто это ударили не меня, а его. Но я теперь посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Поздравляю с днем рождения. С днем моего рождения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нам очень нужны были деньги.

Перед началом учебного года Витя Сердюк предложил собрать учебники за шестой класс и продать их.

Я придумала и написала на серой бумаге красными буквами лозунг: "Продав учебники и купив на полученные деньги конфеты, думай, что корни учения горьки, но зато плоды его — сладки".

Однако деньги нужны нам были совсем не на конфеты.

За все учебники мы получили два рубля четырнадцать копеек. У нас были очень потрепанные учебники.

Тогда Витя предложил нам собрать старые газеты. Мы собрали. Больше всего газет принес Женька Иванов. Женька еще учится в пятом классе, но очень образованный человек, много читает и входит в нашу компанию.

Витя принес шаблон, который он сам вырезал лобзиком из фанеры. По этому шаблону он обрезал ножом со специально заточенным кончиком сложенные стопкой развернутые газетные листы, а когда он сложил один из листов, мы увидели, что получился кулек. Я принесла немного муки, мы сварили клейстер и стали клеить кульки. Из газет, которые мы собрали, получилось двести восемнадцать кульков. Мы отнесли их на рынок, и тетка, которая продает сливы, купила у нас эти кульки и дала нам за них рубль — по пятьдесят копеек за сотню — и еще немного слив за восемнадцать кульков.

Мы спросили, нужны ли ей еще кульки, и она ответила, что нужны. Витя сказал, что кульки и являются единственным правильным путем для выхода из финансового кризиса. Мы решили, что в следующий раз склеим целую тысячу кульков. Но когда мы вернулись к себе во двор, там разразился страшный скандал.

В нашем доме почтальон поднимается на лифте на верхний седьмой этаж, а потом пешком спускается вниз и бросает в каждый ящик на двери газеты, журналы и письма. Оказалось, что Женька Иванов поднялся пешком за почтальоном, а затем спустился буквально вслед за ним, вынимая из каждого ящика через щель газеты. В этот день газеты получили только в одной квартире на шестом этаже, где живет какой-то Б. И. Гопник, потому что у него ящик на двери изнурти, а в двери прорезана щель, через которую и бросают почту.

Жители нашего дома не могли примириться с тем, что они не получили газет; почтовое отделение не могло примириться с тем, что от подписчиков поступила целая куча жалоб; наша

школа не могла примириться с тем, что отличника учебы Женьку Иванова недостаточно воспитывает пионерская организация, а также семья и что он попал под плохое влияние; мы не могли примириться с тем, что Женька своим легкомысленным поступком поставил всех нас под удар, и в результате Женьке дома сильно всыпали и перестали выпускать во двор, а Витя сказал, что, если Женька все-таки порвет оковы и явится к нам, то мы его под конвоем доставим в место заключения.

После этого Витя Сердюк выдвинул новый проект, который получил у нас название "операция Радуга". На эту идею натолкнул нас кот, по имени Чудо. Он и в самом деле представлял собой чудо природы.

В нашем дворе есть шотландская овчарка Леда. Хозяйева этой овчарки трясутся над ней, никого к ней не подпускают, готовят для нее морковные кисели и выходят из себя, если кто-либо пытается ее погладить. И вот недавно, когда Леду спустили с поводка, она вдруг помчалась к ящикам, которые всегда стоят у заднего входа в гастроном — он выходит в наш двор. А из-за ящиков медленно и спокойно вышел большой белый кот. Мы думали, что Леда сейчас разорвет кота на клочки, но это был какой-то особенный кот. Он даже не выгнул спину и не распушил хвост. Он просто легким, мне показалось, даже ленивым взмахом лапы провел когтями по Лединому носу. Овчарка взвизгнула и, упираясь всеми четырьмя лапами, присела. Кот негромко фыркнул и снова поднял лапу. Тут Леда с визгом бросилась наутек, прибежала к своей хозяйке и зарылась, повизгивая, носом к ней в юбку, а хозяйка стала кричать, что это безобразие, что во дворе нет прохода от детей и котов, что негде погулять собаке.

Мы все были очень благодарны этому коту: приятно, когда на твоих глазах наказывают нахала. Витя подозвал кота, и тот все так же неторопливо подошел к нему и стал тереться о его ногу.

— Послушайте, — вдруг обрадовался Витя, — этот кот слепой!

— Скажи еще, что он черный и с шестью ногами, как таракан, — сказал Сережа.

И я тоже сказала, что это чепуха, потому что слепой кот не мог бы попасть так точно Леде по носу и не подошел бы к Вите, когда тот его позвал.

Витя взял кота на руки и потребовал:

— Посмотрите на его глаза.

Глаза у кота, как мне показалось, были самые обыкновенные, такие же, как у всех котов.

— Они голубые, — сказал Витя, как человек, который сделал важное открытие. — А кот — белый.

И Витя рассказал, что читал в какой-то научной книге, что белые коты с голубыми глазами обязательно бывают слепыми.

— Я не знаю, что написано в твоей книге, — сказал Сережа, — но так как этот кот действительно белый и у него действительно голубоватые глаза, то книга твоя ничего не стоит. Этот кот — зрячий.

В ответ на это Витя сказал, что заберет кота к себе и что мы экспериментальным путем установим — слепой это кот или нет, так как ударить Леду по носу и подойти, когда его зовут, кот мог, используя свой слух и обоняние.

Я никогда не представляла себе, что это такое сложное дело — проверить, видит животное или оно слепое. Мне было поручено вести протокол наших экспериментов. Задачей первого опыта было проверить, изменится ли поведение кота, если ему завязать глаза.

Мы завязали коту глаза платком, и его поведение действительно изменилось. Он стал кататься по полу и сдирать повязку. Сережа сказал, что уже один этот факт показывает, что кот зрячий, что повязка ему мешает, но Витя возразил и, по-моему, правильно, что даже слепой кот точно так же не стал бы мириться с повязкой на морде.

Таким же бесполезным оказался опыт с блюдечком молока. Мы ставили его в разных углах комнаты, и кот каждый раз к нему подходил. Но он теоретически мог найти это блюдце по запаху молока.

С другой стороны, когда мы привязали за нитку кусочек ваты и стали дергать эту вату то вверх, то вниз, кот не обращал на нее никакого внимания. Сережа сказал, что это не является доказательством слепоты, так как с ваткой играют и обращают на нее внимание только котят, а старому коту такая игра совершенно неинтересна. Сережин дедушка, например, всегда садится читать газету, когда по телевизору передают футбол, а Сережа и Сережин папа не могут оторвать глаза от экрана.

Так мы в этот день и не выяснили, слепой это кот или зрячий. А на следующий день Витя сказал, что он целую ночь думал, как это проверить, и что он придумал способ и уже совершенно точно установил, что кот этот является чудом природы, потому что, несмотря на белый цвет и голубые глаза, все видит. Витя повел нас к себе и показал, как он это установил. Он зажег настольную лампу, принес мамину пудреницу, раскрыл ее, взял кота и направил ему в глаза зайчика. Мы увидели, что зрачок у кота сузился.

— А раз под действием света у него сужается зрачок, значит, он воспринимает свет, — сказал Витя. — А раз он воспринимает свет, значит, он видит.

Но Вите не хотелось примириться с тем, что кот противоречит выводам науки. И он решил перекрасить кота.

Я в жизни не видела такого исцарапанного человека, как Витя. И в жизни не видела такое странное животное, как крашенный кот. У Вити по носу, губам и подбородку проходили красные полосы, как меридианы на глобусе. А кот выглядел еще более странно: Витя успел только сделать черную с разводами полосу у него на спине и покрасить хвост. Витя уверял, что довел бы дело до конца, если бы не вмешалась бабушка.

Но крашеным котом неожиданно заинтересовался один из жителей нашего дома. Он долго расспрашивал Витю о том, какую краску он применял, стойкая ли это краска, а уходя, сказал со вздохом, что в области крашения химия еще отстаёт от жизни. Может быть, я ошибаюсь, я никому не сказала об этом, но мне показалось, что у этого человека волосы неестественно черного цвета.

И вот тут-то Витя выдвинул свой план "операция Радуга". Он предложил устроить красильню. В нашем доме по проекту должна быть дворовая прачечная. В подвале. Но не хватило какой-то арматуры, и прачечную пока не открыли. Витя предложил использовать это помещение.

— Вначале мы будем красить бесплатно, — сказал Витя, — для того, чтобы о нас узнало побольше людей и чтобы заказчики убедились в нашей добросовестности и высоком качестве окраски. А потом, когда о нас узнают, мы начнем брать деньги.

Но даже и бесплатно никто и ничего не хотел красить, хотя мы ходили из квартиры в квартиру и всюду предлагали свои услуги.

— Ничего, — говорил Витя, — для взрослых характерна такая недоверчивость. Важно их переубедить, а потом к нам будут стоять в очереди.

Нам все-таки удалось уговорить старушку из восемнадцатой квартиры дать нам в окраску скатерть, которую ее первоклассник-внучек, как и полагается, залил чернилами в первый же день учебного года.

— В какой же цвет вам ее покрасить? — спросил Витя. Скатерть была голубая, а большое чернильное пятно — фиолетовое.

— В синий, — сказала старушка. — В темно-синий. Чтоб пятно было не так заметно.

— Ну зачем же в синий, — стал разубеждать ее Витя. — Лучше мы вам ее сделаем цвета бордо.

— А какой это "бордо"?

— Темно-красный... Ну, как борщ.

— А, бурдовый, — сказала бабушка. — Хорошо.

Мы обесцветили скатерть, выварив ее в растворе хлорной извести, так что она стала совсем белой, а затем долго варили ее в краске.

— Главное, чтобы скатерть равномерно окрасилась, чтобы не было пятен и всяких там разводов, — говорил Витя.

Скатерть очень хорошо окрасилась. Мы просто любовались, какого она стала густого вишневого цвета, о котором Витя сказал, что это и есть настоящий бордо — цвет знаменитого французского вина. Еще влажной мы отнесли ее нашей заказчице. Бабушка была очень довольна нашей работой и хотела дать нам денег на конфеты, но Витя отказался и сказал:

— Нам не нужны конфеты. Но расскажите, пожалуйста, своим знакомым, что мы хорошо и добросовестно покрасили вашу скатерть. Это нам очень нужно, потому что мы собираемся расширять производство.

Бабушка пообещала рассказать всем своим соседям, какие мы хорошие красильщики, и пожалела, что ей больше нечего дать нам в окраску.

Мы вернулись в нашу красильню, чтобы покрасить Витину белую рубашку в черный цвет — Витя говорил, что черные рубашки модны и не так пачкаются, как светлые.

Мы развели черную краску, но в это время снова пришла старушка со скатертью. У нее тряслись щеки от негодования. Она сказала, что никому нас не посоветует. Только она прогладила утюгом скатерть, чтобы быстрее подсушить ее и накрыть стол, как скатерть прямо под руками стала распадаться на хлопья. И она вытащила из кошелки и бросила на пол эту распадающуюся на хлопья скатерть. И ушла.

Я взяла в руки кусочек скатерти. Она была очень красивого цвета. Не такого, правда, как когда она была еще влажной, но все равно очень красивого. Мне было жалко старушку и стыдно перед ней, потому что Витя объяснил, что это наша вина: мы, по-видимому, передержали

скатерть в хлорной извести.

Так провалилась наша "операция Радуга". И вот тогда я решила продать свой фотоаппарат. Я взяла его с собой в школу, на всех переменках я фотографировала кого придется, а после уроков мы с Витей пошли в комиссионный магазин.

В магазине пахло нафталином и еще тем кисловатым особым запахом, какой издают старые рояли. В этом магазине продавались странные вещи. Например, столовый сервиз за две тысячи рублей. Как автомашина. Ничего особенного, тарелки с картинками: французские крестьянки и крестьяне играют на дудочках и пасут овец. Кому может понадобится сервиз за две тысячи рублей? Или бронзовый бульдог с раскрытой пастью — двести восемьдесят рублей. Бронзовый памятник с собачьей могилы. Интересно, сколько он весит? И кто его купит?

А мой аппарат принять отказались. Сказали, что, во-первых, у детей магазин вообще ничего не принимает на комиссию, а во-вторых, не принимают таких аппаратов.

По правде говоря, мне было очень приятно, что ребята смотрели на меня, как на героиню, когда я сказала, что продам свой фотоаппарат. Но сейчас я почувствовала большое облегчение и тихо радовалась про себя, что продавщица не приняла мой фотоаппарат и что нам не удалось его продать.

Как только мы вышли из магазина, нас позвал невысокий, худой старик с желтыми зубами и седой неровной щетиной на подбородке, одетый в застегнутый доверху кремовый плащ.

— Как фамилия? — спросил он у меня неожиданно.

— Алексеева, — ответила я.

— Где живешь?

Я назвала свой адрес.

— А для чего вам это знать? — спросил Витя.

— А для того, — сказал старик, — что аппарат этот краденый... И для того, что вы хотели похищенный предмет сдать в комиссионный магазин, что предусмотрено статьей сто семьдесят девятой, пункт "А" Уголовного кодекса сроком до семи лет.

— Это наш аппарат, — сказал Витя. — Как вам не стыдно! Пойдем, Оля.

— Э, нет, — сказал старик и крепко взял меня за руку своей грязной рукой с обкусанными ногтями. — Сначала пройдем в милицию.

На нас оглядывались прохожие, две женщины остановились возле нас, и я впервые в жизни поняла, как себя чувствует человек, уличенный в воровстве. Это был мой аппарат, но все равно я себя чувствовала так, словно я его украла.

Старик тащил меня по улице, а Витя шел рядом и твердил:

— Отпустите ее... Сейчас же отпустите. Вы не имеете права...

— А вот сейчас придем в милицию, составим там протокол по статье сто семьдесят девятой Уголовного кодекса и тогда посмотрим, есть у меня право или нет, — злорадно бормотал старик и вел меня за руку по улице.

А в другой руке я держала свой фотоаппарат, и он жег мне руку, как краденый. Вдруг старик замедлил шаги перед остановкой троллейбуса и быстро сказал:

— Ну, так и быть... На первый раз прощаю. Я сам куплю этот аппарат...

Он сунул мне в руку бумажный рубль, в который была завернута трехкопеечная монета, взял у меня фотоаппарат и сел в троллейбус.

— Зачем ты ему дала аппарат? — удивился Витя. — Подождите! — закричал он вслед старику.

Но троллейбус уже уехал. Мне хотелось плакать, но, честное же слово, я почувствовала облегчение, когда уехал этот отвратительный старик и забрал этот проклятый аппарат.

— Нужно было задержать его, — сказал Витя. — Он, наверное, пьяница. Такой, как когда-то в книгах писали. Что все с себя пропивают. Ты не заметила? Ведь у него под плащом не было даже рубашки.

— Нет, — сказала я. — Я ничего не заметила.

Когда я вернулась домой, я написала стихи. Я всегда пишу стихи, если переволнуюсь или если со мной что-нибудь случится. Но я никогда не пишу стихов о том, что произошло. Они вроде бы совсем не связаны с тем, что со мной случилось, совсем о другом, но я-то знаю, что они очень связаны, только я не умею объяснить, чем именно.

В этот раз я написала стихи про Буратино. Начинались они так:

Бедняга Буратино!
Наверно, неспроста
Тебя швырнули в тину,
В глубокий пруд с моста...

Какое отношение имеет Буратино к денежным затруднениям нашей компании? Или к тому, что пропал мой фотоаппарат и этот странный старик в кремовом плаще так напугал меня?.. И все-таки имеет какое-то отношение. Потому я и написала стихи об этом остроносом добром деревянном человечке. И, когда я написала эти стихи, мне стало легче.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Рано утром папа трижды ударил согнутым пальцем по дверце платяного шкафа и закричал: "Эй вы, сонные тетери, открывайте брату двери!" Он часто будил меня этими словами, и я теперь понимаю, как это хорошо — просыпаться с улыбкой. Но на этот раз я не улыбнулась и ничего не ответила. Тогда он сказал:

— Можно к тебе?

Я ответила:

— Да, пожалуйста.

Он вошел, присел с краешка на мою кровать и улыбнулся, как улыбается он всегда, когда думает о чем-нибудь серьезном. Я люблю в такие минуты смотреть на его лицо. У него тогда бывает особенно хорошее лицо — чуть-чуть беззащитное и одновременно решительное.

— Я очень виноват перед тобой, — сказал папа. — Не знаю, извинишь ли ты меня, но больше это не повторится со мной никогда в жизни.

Я молчала.

— Это все, что я хотел сказать, — сказал папа. — Я очень бы хотел вернуть твое уважение. Если сможешь — прости меня.

— Хорошо, — сказала я, стараясь не заплакать.

Он вышел, а я постелила кровать и пошла в ванную. Ванная у нас рядом с кухней, и окошко ванной выходит в кухню. Мама готовила завтрак и говорила нарочно громко, так, чтоб шум воды из крана не заглушал ее голоса:

— Если бы мне было куда уйти, я бы и минуты не осталась в этом сумасшедшем доме. Я слышала, как ты вымаливал прощение, вместо того чтобы взять ремень и всыпать ей как следует. Если бы у нее был родной отец...

Я посильнее открутила кран в ванной и закрыла уши руками. Мама постоянно упрекает папу в том, что он мне не родной отец.

Родного отца я почти не помню. Помню только сапоги — он был военным летчиком и, очевидно, носил сапоги, — я сижу между этими большими сапогами, и отец, стоя, говорит и взмахивает рукой, а его молча и, как мне теперь кажется, восхищенно слушают какие-то люди. Их много в большой комнате, где мы тогда, очевидно, жили. Они сидят на стульях, на подоконниках, как мне кажется, даже на полу. А отец им что-то говорит. И из его слов я запомнила только красивое и необыкновенное выражение: "...и так далее, и так далее".

Мама говорит, что он погиб при авиационной катастрофе, но я знаю, что это не так.

Я помню многое, что было со мной в раннем детстве, лица, платья, разговоры, которые при мне велись и которых я тогда не понимала, но когда я вспоминаю о них теперь, они наполняются для меня смыслом. Так как если бы выучить на память страницу из книги на иностранном, не известном тебе языке, а потом, спустя несколько лет, выучить этот язык.

Так вот, припоминая такие отрывочные разговоры, я поняла, что отец мой оставил нас с мамой потому, что полюбил другую женщину. Я никогда с мамой об этом не говорила, и каким был мой родной отец, я не знаю. Думаю, что был он все-таки плохим человеком, если мог оставить меня и маму.

Но человеком, которого я зову папой, моим отчимом, я горжусь и очень люблю его, по-моему, люблю его даже больше, чем маму, и верю в то, что он самый лучший человек на свете, и хочу во всем быть похожей на него.

Он журналист, работает в газете, часто уезжает в командировки. И, когда его нет, я очень по нему скучаю и пишу ему письма, а он мне отвечает.

А мама не любит писать письма. Она говорит, что это старомодное занятие и что значительно проще поговорить по междугородному телефону.

Я ему показываю все мои стихи; он их никогда не хвалит и не ругает, но он их понимает. Он, по-моему, понимает даже то, что я сама не всегда понимаю: почему я их написала. И мне очень захотелось прочесть ему стихотворение, начало которого сложилось у меня ночью: я

всегда сначала сочиняю стихи в голове, а потом уже записываю их на бумаге. Я придумала только первую строфу:

Мне снова снился отчий дом
Малометражная квартира.
Проснулась ночью. Было тихо.
И вспоминался этот сон.

Но я решила, что сначала я закончу стихотворение, а потом уже перепишу и покажу его папе. Хотя я еще совсем не знала, что будет дальше. Что-то такое о чужих окнах, которые глядят мне в лицо тысячью влажных глаз.

За завтраком все мы молчали, но перед тем, как я пошла в школу, папа спросил:

— Может быть, тебе нужны деньги?

— Нет, не нужны, — ответила я.

Я сказала неправду. Деньги мне были очень нужны.

У каждого человека есть какой-то предмет, о котором он мечтает и на покупку которого он не жалеет денег. У папы, например, это консервные ножи. У нас на кухне одна стенка — там, где газовая плита, — закрыта фанерным щитом кремового цвета, в щит густо забиты гвоздики, а на них висят в ряд двести одиннадцать консервных ножей. Все знакомые сносят папе консервные ножи, из всех командировок он привозит консервные ножи. Он говорит, что когда-нибудь напишет историю эволюции консервных ножей, начиная от первых в виде щучьей пасти, изготовленных для открывания первых консервов в середине прошлого столетия, и кончая сложным современным устройством с магнитным держателем для обрезанной крышки. Папа говорит, что на конструкцию консервных ножей оказали свое влияние и войны и революции.

Я в детстве больше всего хотела покупать мороженое. Я совершенно не понимала взрослых, которые тратят деньги на хлеб, колбасу, ботинки, когда на них можно купить мороженое. Затем я стала так же думать о книгах.

Но вот теперь я мечтала лишь об одном — о реактивах. О химических реактивах. И я, и Витя, и Сережа, и даже Женька Иванов в последнее время не ходили в кино, не ели мороженого. Все деньги мы тратили на реактивы.

Когда я закончу школу, я поступлю в университет на химический факультет. Но учиться там я буду заочно. А работать я пойду в магазин химических реактивов. Это моя мечта, и я сделаю все, что нужно, для того чтобы она осуществилась.

Все началось с обыкновенного кусочка сахара. Я тогда еще училась в шестом классе и не знала, что сахар не горит, а только темнеет и плавится, если жечь его на спичке. Витин отец, Леонид Владимирович, — он химик, профессор, работает в Академии наук — однажды, когда я и Сережа были у Вити, сказал, что покажет нам фокус. Он дал нам каждому по кусочку сахара и по коробке спичек и предложил зажечь этот сахар, только над пепельницей, чтобы не запачкать стол. Я обожгла себе пальцы, а сахар не загорался. Тогда Витин папа взял у нас сахар и сам поджег его. И сахар у него сразу загорелся красивым синеватым пламенем, похожим на то, какое бывает, когда горит спирт.

— Теперь догадайтесь, в чем тут фокус, — сказал Витин папа. — Почему у вас сахар не горел, а у меня горит?

Мы не могли догадаться. И Витин папа тогда сказал:

— Вот, ребята, вы сейчас столкнулись с одним из самых интересных явлений природы и одним из самых важных вопросов химии. Вы не обратили на это внимания, но я, перед тем как поджечь кусок сахара, будто нечаянно уронил его в пепельницу. К сахару пристал табачный пепел, а табачный пепел обладает интереснейшим свойством — достаточно крошечного количества, ну просто миллиграмма, чтобы весь сахар, если его поджечь, сгорел.

— А почему пепел так действует на сахар? — спросил Сережа.

— Потому что табачный пепел в этом случае является катализатором, ответил Леонид Владимирович и рассказал нам о том, что катализаторы — это такие вещества, которые во время химических процессов не изменяются, их количество не уменьшается и не увеличивается, но что они намного ускоряют химические процессы, иногда в тысячи и в сотни тысяч раз. А бывают и такие реакции, которые вообще без катализатора не получаются.

Не знаю, как у других, но у меня перед глазами сразу возникла такая картина: огромный зал или площадь, заполненная людьми. Они стоят тесно, они мрачны и недовольны, они негромко переговариваются между собой, и вся площадь гудит, как улей. Но тут молодой человек в белой рубашке с расстегнутым воротом, с зачесанными назад волнистыми черными волосами вскакивает на какое-то возвышение — это даже не трибуна, а стол или тележка — и кричит: "Вперед на тиранов!"

И все принимаются строить баррикады, вооружаться... Вот этот молодой человек, который закричал "Вперед на тиранов!", мне представилось, и есть катализатор.

Леонид Владимирович прочел нам в тот день целую лекцию о катализаторах. О том, что бывают катализаторы, которые ускоряют действие других катализаторов, и что их называют промоторами, и что бывают вещества, которые замедляют действие катализаторов, — их называют каталитическими ядами; что в наше время ученые создали теории о том, почему и как действуют катализаторы, но все равно в этом вопросе еще многое остается неизвестным, и некоторые катализаторы найдены по методу древних алхимиков, то есть пробуют разные реактивы, проверяя, не ускорят ли они химический процесс.

Я сразу представила себе полутемное помещение, посередине горн, на котором стоит большая изогнутая реторта с красной жидкостью. Вития папа, в коротких штанах, в бархатном камзоле, одной рукой раздувает меха, в другой руке держит книгу, в которую время от времени заглядывает, бормоча вперемежку химические формулы и заклинания, а на голове у него сидит сова, которая то страшно ухает, то бормочет формулы: аш два о, аргентум, нитрогениум и еще такие же слова.

— Значит, — спросила я, — все зависит от того, повезет или не повезет химикам?

— Нет, — возразил Леонид Владимирович. — В тысячах лабораторий всего мира ежедневно проводятся сотни тысяч опытов, для того чтобы найти и испытать новые катализаторы. И если говорить о везении, то это сознательное, так сказать, направленное везение. И когда химики находят новый катализатор — это очень важное, очень радостное событие, а состав нового катализатора очень часто является промышленной, военной или даже государственной тайной.

Когда я вернулась домой, я долго думала о том, что это все-таки очень здорово и очень странно... Пока мы ходим в школу и в кино и готовим уроки или ссоримся друг с другом из-за всякой чепухи, во всем мире в лабораториях, согнувшись над приборами, сидят ученые и ищут

катализаторы для того, чтобы ускорить разные химические процессы. А Витин папа говорит, что ускорять разные химические процессы это значит активно заботиться о том, чтобы людям побыстрее жилось легче и лучше.

И я написала стихи. Я всего раз в жизни летела на самолете. С папой и мамой — на "ТУ-104". Мне не понравилось, потому что с непривычки было страшно, и меня тошнило, хотя папа удивлялся, почему меня тошнит, так как в самолете в самом деле совсем не качает, а только закладывает уши и ломит в затылке при взлете и посадке. Но теперь, после разговора о катализаторах, я совсем по-другому увидела и поняла свой полет.

И я написала:

На облака облокотись
И вниз на землю погляди.
Взгляни на горы сверху вниз,
На реки в челюстях плотин.
Взгляни на села, города
Не свысока, а с высоты,
Чтоб просто больше увидеть,
Чтоб сразу взглядом охватить.
Гляди: над лучшим из миров
Редеем облачный покров...
Да, люди выше облаков,
И люди больше городов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прозвенел звонок. И, когда все уже сидели на месте, в класс вошел Сережа. Он слегка взмахнул рукой, сказал: "Сидите, сидите", затем подошел к доске, повернулся к классу, подергал себя за нос и торопливо спросил:

— Так на чем мы остановились? — И так же торопливо сам себе ответил: На Ярославе Мудром... Алексеева, не вертись, — сказал Сережа в нос и продолжал прежним тоном: — Запишите в тетради: Ярослав Мудрый. А теперь положите ручки и слушайте. Ярослав Мудрый был прозван мудрым за свою мудрость...

Никто не обращал внимания на то, что говорил Сережа из-за учительского стола. Все уже давно привыкли к его шуточкам. По-моему, никто даже не улыбнулся.

— Ярослав Мудрый... — продолжал Сережа.

Но в это время приоткрылась дверь, и Сережа шмыгнул на свою парту — он сидит с Витей. Вошел учитель истории Михаил Иванович и совершенно таким же движением руки, как Сережа, помахал на класс и сказал: "Садитесь, садитесь". Кто-то из девчонок хихикнул. Тогда Михаил Иванович подергал себя за нос и спросил:

— Так на чем мы остановились? — И торопливо ответил: — На князе Ярославе Мудром... Алексеева, не вертись, — сказал он мне, хотя, честное же слово, я ничуть не вертелась.

Все поведение Михаила Ивановича, все его слова были настолько похожи на то, что показал перед тем Сережа, так совпадало каждое движение, что ребята повизгивали, подавляя смех. И только Сережа сидел с очень серьезным, с очень вдумчивым лицом.

Вообще Сережа был бы похож лицом на Пушкина, если бы оно не было у него подвижным, как у обезьяны, и если бы не были такие светлые, словно покрашенные перекисью водорода, волосы. Но когда Сереже вздумается, он может придать своему лицу выражение пай-мальчика с картинок в старых детских книжках.

Михаил Иванович никак не мог понять, чем вызван смех, и вместо того чтобы дальше рассказывать про Ярослава Мудрого, стал спрашивать домашнее задание. И, как это ни удивительно, первым он вызвал Сережу и поставил ему двойку, потому что Сережа переселил кривичей с верховьев Днепра на Оку, древлян с Припяти на Десну, а полян передвинул к дулебам.

Я уже давно заметила, что почти все наши учителя, когда в классе возникает нездоровый смех, вызывают Сережу и ставят ему двойку, хотя Сережа хорошо учится. Очевидно, они знают, кто у нас первый юморист.

На перемене возле новой школьной стенгазеты столпилось много ребят. Я тоже подошла, но лишь посмотрела и сейчас же пошла дальше. Я дала в газету эти мои стихи про самолет, а их не поместили. И мне показалось обидно, что в газете не мои стихи, а Миры Ковалевой из 8-го "Б". У нас многие мальчики и девочки пишут стихи, но книги стихов в библиотеке, по-моему, наши ребята берут не особенно охотно. Да и мне самой больше нравится читать написанное прозой.

На второй урок мы пошли в самое лучшее место в нашей школе — в химический кабинет. У нас замечательный химический кабинет. Вместо парт там стоят столы. И есть большой стол, к которому подведен газ, и на нем маленькие газовые плитки и химическая посуда. И вытяжной шкаф — большой стеклянный ящик, к которому подведена вентиляционная труба. И вдоль стены шкафы, заполненные банками с этикетками, а в банках всевозможные реактивы. А в одной из банок под слоем керосина хранится металлический натрий, который мне нравится больше всего...

И главное, в химическом кабинете Евгения Лаврентьевна, как всегда, в черном халате и с белыми волосами и с лицом, которое остается добрым и серьезным, даже когда Евгения Лаврентьевна улыбается. Что я прежде слышала о Евгении Лаврентьевне? Что она строгая и что отвечает на все вопросы.

Строгая ли она? Папа как-то говорил, что у плохого учителя ученики могут сидеть на уроках тихо, но у хорошего учителя ученики не могут шуметь и болтать. У Евгении Лаврентьевны на уроках всегда тихо, и просто как-то никому не приходит в голову, что можно отвлечься, или потрепаться с соседом по столу, или еще что-нибудь такое.

Ну, а насчет вопросов — это правда. Она никогда никому не говорит: "Тебе еще рано", или: "Ты это поймешь позже", или: "Ты это будешь учить в десятом классе". Она отвечает на все вопросы. И не только по химии. И всегда скажет еще, какие книги прочесть, чтоб лучше понять. Старшеклассники рассказывают, будто иногда ей задают такие вопросы, что она отвечает: "Я этого точно не знаю. Я выясню и завтра вам отвечу". И никогда не забывает ответить. Мне кажется, что за это ее особенно надо уважать.

Но задавать вопросы ей можно только на переменах или после уроков. Она всегда специально остается. А на уроке ее нельзя прерывать.

Вот я, например, спросила у Евгении Лаврентьевны, почему если посыпать сахар табачным пеплом, то он горит. Подошли мы к ней всей нашей компанией, вчетвером, даже с Женькой

Ивановым. Евгения Лаврентьевна сначала расспросила нас, понимаем ли мы, что такое катализатор, а уж потом рассказала, что существует такой очень легкий металл, под названием литий, который в пять раз легче алюминия. Применяется он в металлургии — его добавляют в очень небольшом количестве к меди, алюминию, магнию, от этого они становятся более стойкими и прочными. Литий содержится в некоторых морских водорослях, а также в таких растениях, как лютик, который иначе называют куриной слепотой, и в табаке. В табачном пепле остается часть соединений лития, а этот литий и является катализатором.

От Евгении Лаврентьевны на каждом уроке узнаешь что-нибудь совершенно неожиданное и удивительное. Вот, например, есть такая поговорка: "Чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть". Я думала, что для того, чтобы съесть пуд соли, нужно лет двадцать, ну, не двадцать, так десять. Но Евгения Лаврентьевна рассказала нам, что каждый человек с пищей съедает в год от 8 до 10 килограммов соли. Значит, вдвоем они съедают пуд соли всего за год. Значит, мы с мамой съели вместе почти 13 пудов соли, и все-таки... Видимо, не в соли дело и не в сроках, но Евгения Лаврентьевна тут ни при чем.

Витин папа, Леонид Владимирович, рассказывал, что ученики, которые, закончив школу, получают у Евгении Лаврентьевны по химии даже тройку, в институт сдают экзамен по химии на пятерку, а если у ученика Евгении Лаврентьевны в аттестате стоит по химии пятерка, то ему в Киеве в любом институте или в университете поставят пять и могут даже не задавать вопросов.

На всю жизнь я запомню первый урок Евгении Лаврентьевны. "Кто такие химики?" — такая была тема этого урока. Если бы она рассказывала сто часов подряд, никто все равно не сдвинулся бы с места.

Все химики были замечательными людьми — отважными, благородными, готовыми пожертвовать собой для пользы людей.

Особенно мне запомнилось, как Евгения Лаврентьевна рассказывала о великом химике Бутлерове. Восьмилетнего Сашу Бутлерова родители отдали в пансион в городе Казани, ну, вроде бы в интернат. Там он увлекся химией. И вот, когда ему было лет десять, он в своей тумбочке возле кровати устроил небольшую лабораторию. И когда однажды дети играли во дворе, вдруг раздался оглушительный взрыв. Воспитатель побежал в помещение и вытащил оттуда Сашу Бутлерова, у которого были обожжены брови и волосы. Эксперимент, который он задумал, кончился неудачей. Бутлерова решили наказать. В этом пансионе, где он учился, детей не секли розгами, хотя, как сказала Евгения Лаврентьевна, в других учебных заведениях розги были в большом ходу, и вот Бутлерова за его "преступление" посадили в темный карцер, а из карцера его несколько раз выводили в общий обеденный зал с черной доской на груди. А на доске крупными белыми буквами было написано: "Великий химик".

Они это написали, чтобы поиздеваться над мальчиком, но оказалось, что они предсказали его будущее. Потому что он действительно стал великим химиком.

Евгения Лаврентьевна говорила, что все, что возможно с научной точки зрения, в конце концов становится возможным в действительности. Хотя иногда даже ученые слишком поспешно говорят "невозможно", вместо того чтобы сказать "мы еще не умеем". Вот, например, она рассказывала, что долгое время считалось, что невозможно получить искусственный аммиак, но немецкий ученый Габер придумал, как это сделать. Благодаря его открытию Германия так долго держалась в первой мировой войне. Но когда к власти пришли фашисты, они стали преследовать этого Габера, потому что он был евреем, и он убежал из Германии и умер в чужой стране.

Или, например, Евгения Лаврентьевна рассказывала, что знаменитый изобретатель Эдисон, когда услышал, что в Советском Союзе получен искусственный каучук, заявил: "Я не верю, что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук. Все это сообщение — сплошной вымысел. Мой собственный опыт и опыт других показывает, что вряд ли процесс синтеза каучука вообще когда-нибудь увенчается успехом". А ведь сейчас любой ребенок знает, что каучук получают синтетическим путем.

Но если все, что возможно по научной теории, возможно в действительности, то, может быть, уже скоро будет осуществлено то, что задумал Витин папа, Леонид Владимирович, хотя это совсем похоже на фантастику.

Я часто представляю себе, как над нашим городом, над куполами Софии, над Днепром, над Мариинским парком и памятником Вечной Славы летают, медленно взмахивая крыльями, огромные птицы. Вот одна из них плавно опустилась на асфальтовую площадь между Пионерским и Мариинским парком, и стало видно, что это не птица, а огромная машина — птицелет. Открылись дверцы, и из нее вышло много людей — пассажиров.

Пассажиры разошлись, а в кабине остались летчики: я, Витя, Сережа и Женька. На пульте управления перед нами указатель высоты, скорости и еще небольшой прибор с тремя циферблатами. Над одним из них написано "Кислота", над другим — "Щелочь", а над третьим — "Катализатор". Крылья нашего птицелета движутся при помощи искусственных мышц из полимерных пленок, то есть птицелет движется при помощи химии, так как в нем химическая энергия сразу превращается в механическую.

Леонид Владимирович рассказывал нам, что созданные в их лаборатории тонкие пленки из полимеров под действием щелочи и кислоты то растягиваются, то сжимаются, как искусственная мышца. Если соединить между собой много таких пленок и найти катализатор, который будет ускорять и увеличивать сжатие и растягивание, можно создать искусственные мышцы. И мышцы эти смогут делать огромную работу, они будут в тысячу раз сильнее, чем, скажем, мышцы настоящего слона.

Витин папа водил нас в свою лабораторию в Академии наук и показал, как сжимаются и растягиваются эти пленки.

Я не знаю, как создают такие лаборатории и как отбирают в них людей, но, скорее всего, я думаю, собирается сначала несколько человек, которые любят и знают химию. Один из них предлагает решить научную проблему, которая всем им очень интересна, а потом к ним присоединяются еще и другие люди. В общем, все у них происходит, очевидно, так же, как в нашей компании, но разница, и не в нашу пользу, в том, что реактивы им дает государство и что они не только не платят денег за то, что занимаются любимым делом, а еще и получают за это зарплату.

О том, что эти пленки — искусственные мышцы — когда-нибудь будут использованы для того, чтобы создать крылатую машину — птицелет, нам сказал Витин папа, а когда мы ушли из лаборатории, Витя предложил:

— Давайте сделаем свою лабораторию. Будем искать катализатор. Может, мы его найдем скорее, чем целая научная лаборатория.

Мы решили держать наш замысел в тайне. Но совсем не потому, что, как сказал Витя, наше открытие может стать военным секретом, а по другой причине, о которой никто не говорил. Мы боялись насмешек. Мы не хотели, чтобы нас дразнили "великими химиками", как Сашу

Бутлерова. И мы строго соблюдали тайну. Тем более, что всем нам было приятно иметь тайну, перемигиваться на уроках и шептаться на переменах.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда я была маленькой, мне казалось, что лучше быть мальчиком, чем девочкой. Я уговорила маму купить мне штаны и стреляла из рогатки.

Но сегодня я думаю о том, как хорошо все-таки, что родилась я девочкой. Хотя я снова надела штаны. Однако совсем не для того, чтобы быть похожей на мальчишку.

Эти ярко-голубые брюки из тонкой шерсти с лавсаном мне купила ко дню рождения мама. А еще я надела темно-синюю тонкую шерстяную кофточку без рукавов прямо на голое тело, как это теперь модно. И когда я все это надела, я посмотрела в зеркало и снова подумала, как приятно быть девочкой, потому что у мальчиков не бывает таких красивых, как у меня, косичек и таких темных и блестящих глаз, какие есть только у меня и еще у моей мамы и больше ни у кого на свете.

Мне позволили в это воскресенье поехать на прогулку за город с Витей и Витиным папой. У Витино папы собственная "Волга" зеленого цвета, с негритенком, который висит на пружинке перед ветровым стеклом, и с дополнительной желтой фарой, которая, как сказал мне Витя, называется антитуманной и светит в тумане.

Витин папа, Леонид Владимирович, сел за руль, Витя — рядом с ним, а я на заднем сиденье. Витин папа совсем не похож на Витю. Правда, может быть, лицо его очень меняют очки в темной толстой оправе и борода. У него борода небольшая. И внизу ровно отрезанная лопатой. Если бы он сбрил бороду и снял очки, может, он был бы больше похож на собственного сына.

Мне очень хотелось спросить у Леонида Владимировича, почему он едет на прогулку, если он сам говорил, что он и сотрудники лаборатории днем и ночью работают над поисками катализаторов. Но я промолчала, потому что подумала, что такой вопрос был бы бестактностью. Может быть, он устал — взрослые быстро устают и нуждаются в отдыхе. А может быть, он, как я, даже по дороге, на прогулке, мечтает о своей работе.

Достаточно было мне представить себе, что у Витино папы такие же мечты о работе, как у меня, и я уже покраснела и не могла бы посмотреть ему в глаза. Как это хорошо все-таки, что люди не могут читать мысли друг друга. Иначе жизнь стала бы совсем невозможной.

Но как бы на меня смотрели и Витин папа и Витя, если бы

они узнали, что в ту самую минуту, когда мы отъехали от дома, я даже не замечала, куда мы едем, потому что представляла себе, как я в банку, где у нас мокнут полимерные пленки, капнула из пипетки одну капельку раствора обыкновенной соли. И вдруг пленки стянулись, укоротились в несколько раз. Мы в нетерпении вытаскиваем нашу искусственную мышцу, чтобы посмотреть, что с ней случилось. Сначала мы хотим ее растянуть, но она не поддается.

"Что бы это значило?" — говорит Витя и бросает пленки в банку со щелочью.

Пленки на глазах вытягиваются, увеличиваются, как живые.

Мы показываем нашу искусственную мышцу в лаборатории, где работает Витин папа.

"Это все Оля, — говорит Витя. — Это она придумала испытать как катализатор раствор соли".

"Не может быть!" — говорят научные сотрудники лаборатории, а Леонид Владимирович хватается себя за бороду, перехватывая ее пополам, так что нижний конец распускается как павлиний хвост, и говорит:

"Это замечательно! Это удивительное открытие. Можно сказать, событие эпохи. Мы сейчас же проверим его в нашей лаборатории".

Но в лаборатории ничего не получается.

"Сколько вы насыпали соли?" — строго спрашивает Витин отец.

"Я не помню, — отвечаю ему я и сама пугаюсь. — Щепотку. Я ее перед тем не взвешивала".

"Как же это ты? — сердится Витин папа. — А где ты брала соль?"

"В нашей солонке".

"Сейчас же доставить сюда эту солонку!" — командует Витин папа и сжимает рукой конец бороды так, что она становится узкой и острой, как кинжал.

Меня сажают в машину к везут за солонкой. Анализ соли показывает, что она поглотила некоторое количество серебра из солонки, и эти молекулы соленого серебра сыграли свою роль при катализе.

"Это огромная удача, что наши дети сделали это замечательное открытие, — говорит Витин папа и гладит бороду так сильно, что она загибается за подбородок наподобие шарфика. — И уже совсем недалеко то время, когда в воздух взвьются бесшумные птицелеты..."

"А может быть, — подумала я, — Леонид Владимирович, который ведет сейчас машину и держит руль с такой силой, словно у него вырывают этот руль из рук, думает в эту минуту что-нибудь похожее на то, что думаю я, или даже то же самое. И это помогает ему переживать трудности и справляться с неудачами"...

Мы ехали по шоссе мимо новых улиц, на которых было, наверное, строящихся домов столько же, сколько уже построенных, и мимо огромного домостроительного комбината, на котором, как рассказывал мне папа, готовят теперь целые комнаты, а па месте их только составляют, как дети составляют домики из кубиков, и мимо озера с очень холодной и очень тяжелой водой, над которым со всех сторон тесно, почти вплотную друг к другу, стояли рыболовы.

Витя и его папа, очевидно, уже не первый раз ездили этой дорогой, они совсем не смотрели по сторонам и все время молчали, только раз Витя сказал: "Нужно сменить фильтр", а Леонид Владимирович в ответ кивнул головой.

И мне тоже стало неинтересно смотреть по сторонам и захотелось, чтобы мы уже скорей куда-нибудь приехали.

Мы подъехали к лесу, и Леонид Владимирович свернул с шоссе на песчаную лесную дорогу. Меня подбросило, машину затрясло. Витин папа остановил машину и коротко сказал: "Поменялись".

Он подвинулся вправо, а Витя перелез через его колени и сел за руль. Витя сразу же перевел

рычаг скоростей, и машина медленно тронулась. Я посмотрела на спидометр — стрелка показывала 30 километров. Но машину все равно очень бросало. И Витя, и Витин папа на меня ни разу даже не оглянулись.

Но мне казалось, что оба они все время помнят, что я сижу сзади и что это они мне показывают, как хорошо Витя научился водить автомашину, хотя до шестнадцати или восемнадцати лет, я не помню, автомашину водить запрещают.

Так мы и ехали сначала по лесу, а потом побыстрее по лугу, а потом снова помедленнее по лесу, и я смотрела на золотые красивые листья берез, и на красные листья осин, и на темную хвою, и смотреть на все это мне было сейчас совсем неинтересно, хотя в другое время я бы очень радовалась, что побывала в осеннем лесу.

Так прошел час, начался второй. Если бы это был мой пана и это была бы наша машина, то папа обязательно спросил бы:

"Ну, а теперь, может быть, ты, Витя, хочешь немного поучиться править машиной?"

Или если бы это была я, то обязательно бы сказала:

"Садись, Витя, рядом со мной. Тут в лесу можно ездить я втроем на переднем сиденье. Посмотришь, как я правлю машиной, а потом и сам попробуешь".

Но ни Витин папа, ни Витя ничего подобного не говорили. Они все время молчали, а у меня настолько испортилось настроение, что я стала думать о том, что дело, может быть, не в Вите и его папе, что, может быть, просто, когда человеку принадлежит автомашина, он становится таким безразличным к людям, у которых ее нет.

И я уже жалела, что поехала на эту прогулку, что надела голубые брюки, на которые никто не обратил внимания, и синюю кофточку, и вплела в косички тонкие фиолетовые ленточки, которые почти незаметны, но, если присмотреться, придают особую прелесть волосам и всему.

Тем временем машина снова выехала на шоссе, но уже в другом месте, значительно дальше от города, чем там, где мы Съехали в лес. Леонид Владимирович снова поменялся с Витей местами, и мы поехали домой.

Витя первый раз оглянулся на меня и спросил:

— Ну, видела, как я теперь вожу машину?

— Видела, — сказала я. — Очень хорошо. Я не стала говорить, что на такой скорости, с какой мы ехали, водить машину не фокус. Потому что, во-первых, понимала, что по той плохой дороге, по какой мы ехали, быстрее нельзя, а во-вторых, мне хотелось плакать.

Когда мы вернулись домой, Витин папа поставил сначала машину в гараж у него гараж во дворе, это такая каменная будка с широкими дверьми, — а затем мы все вместе пошли к Вите. Я не хотела к нему идти, но Витин папа сказал, что нас ждет торт и если мы не съедим этот торт, а он ореховый и с цукатами, то прогулку нельзя считать завершенной, и я не устояла.

Витя, Сережа, Женька Иванов и я живем в одном доме и учимся в одной школе. Но у всех у нас квартиры в разных подъездах. У нас очень большой дом, и так как он был построен на месте трех старых, то он имеет три номера.

Витя живет на третьем этаже в семьдесят седьмой квартире. Мы вошли в лифт, и я заметила, как Витя оттолкнул руку своего отца и поспешил сам нажать на кнопку подъема. Все-таки в нем еще много детского.

Леонид Владимирович открыл двери своим ключом и остановился на пороге, а мы стали за ним.

В квартире громкими, нечеловеческими голосами кричали женщины. Ни одного слова нельзя было разобрать, и крик был какой-то странный, я бы сказала, какой-то пустой. Я не хочу никого обидеть, но мне думается, что так, должно быть, кричат сумасшедшие. Витин папа побледнел и поспешил в переднюю, а мы вслед за ним.

Витя живет в трехкомнатной квартире. Из передней две двери: одна в комнату налево, которая служит в Витиной семье столовой, а кроме того, там стоит телевизор и туда приходят гости. А другая дверь — в коридор, а там еще две комнаты, кухня, ванная и удобства.

Крики слышались из-за двери слева. Мы вошли в комнату и увидели, что за столом, на близком расстоянии друг против друга, сидят Витина бабушка и бабушка Женьки Иванова, обе красные, возбужденные и кричат друг другу странные вещи.

В этот раз кричала Витина бабушка. Все слова она кричала медленно и каждое слово отдельно:

— А. Скажите. Мне. Пожалуйста. Завтракает. Ли. Ваш. Мальчик. Перед. Тем. Как. Идет. В. Школу.

А Женькина бабушка орала в ответ:

— Я ничего. Не понимаю. Какой завтрак? Я говорю не про питание. Я говорю про воспитание.

— Что случилось? — испуганно спросил Витин отец.

— Хорошо. Что. Вы. Пришли! — закричала Витина бабушка. — Простите. Но. Я. Хочу. Сказать. Несколько. Слов. Сыну! — закричала она, обращаясь к Женькиной бабушке, и вышла из комнаты, а вслед за ней вышел Леонид Владимирович.

Женькина бабушка осталась растерянная и грустная и смотрела на нас, как на незнакомых.

И я и Витя ничего не могли понять. Почему они так кричали? Витина бабушка, совершенно седая, стройная старушка, с красивым, ну просто с очень красивым лицом разговаривала всегда как-то подчеркнуто, как-то особенно тихо. Я много раз обращала на это внимание. На это и еще на то, что Витя любит свою бабушку, но не очень ее слушается. В общем, относится к бабушке, как к бабушке. Но Витин папа ее просто боится. Я слышала однажды, как она спросила у него обыкновенную вещь — купил ли он какого-то сыра, который она сказала ему купить, а он покраснел и растерялся и стал длинно оправдываться и говорить, что сыра этого не было в магазине, но что он звонил по телефону товарищу в Москву и тот обещал выслать этот сыр посылкой.

Ну, а бабушка Женьки Иванова вообще маленькая, тихая старушка, которая балует Женьку, говорит в нашем присутствии, что его тиранят родители, что совсем непедагогично, и учит Женьку немецкому языку.

Совершенно непонятно, почему они так кричали друг на Друга.

Тем временем вернулся Витин отец и с очень удрученным видом сказал Женькиной бабушке, что Александра Леонидовна просит ее извинить, так как она себя плохо чувствует. Женькина бабушка закивала головой: "Пожалуйста, пожалуйста" — и ушла.

Леонид Владимирович с очень странным выражением лица, по которому нельзя было понять — то ли он хочет заплакать, то ли рассмеяться, спросил у нас:

— Так каким это сигналом вы созываете своих братьев-разбойников?

У нас действительно есть свой сигнал. Мы свистим особым образом. Кроме нас, так никто в школе не умеет. Чтобы научиться так свистеть, нужно много тренироваться, хотя на первый взгляд свистеть так совсем не сложно. Нужно сложить руки ковшиком настолько плотно, что если бы набрать воды, она не вылилась бы из рук, и подуть в щель, которая остается между пальцами. Тогда и получается особый звук — громкий, гудящий, словно ветер дует в пустую бутылку.

— Ну-ка, погуди, — сказал папа Вите.

Витя взобрался на подоконник и погудел в форточку. Сигнал произвел магическое действие. Вскоре в дверь зазвонили и появились запыхавшиеся Сережа и Женька. Когда они увидели Витино папу, они переглянулись и были уже совсем готовы задать стрекача, но Витин папа взял их за руки и пошел в комнату.

— Вот что, — сказал он, — сегодня я в первый раз в жизни пожалел, что у нас не секут детей. Прежде всего давайте договоримся, что вы никому не расскажете об этой истории. Чтоб Александра Леонидовна не догадалась... А впрочем, — добавил он с сомнением, — может, она первая будет смеяться?.. Но сначала все-таки скажите, как и зачем вы это сделали?

Сережа скромно молчал, а из очень сбивчивого Женькиного рассказа стало понятно, что Женькина бабушка решила встретиться с Витиной бабушкой, чтобы та помогла ей повлиять на Женькиных тиранов-родителей, которые не выпускают Женьку во двор, в то время как Женькина бабушка считает положительным влияние старших ребят на Женьку.

И тут Женька, понятно, не без участия Сережи, сказал своей бабушке, что Витина бабушка плохо слышит и поэтому с ней нужно очень громко разговаривать, а затем эти типы отправились к Витиной бабушке и предупредили ее о том, что к ней собирается Женькина бабушка, но что она очень плохо слышит и разговаривать с ней следует погромче.

Так непонятный крик бабушек нашел наконец свое материалистическое объяснение, а Витя и я от этого объяснения, да еще вспомнив, что именно кричали бабушки, чуть не лопнули. К тому же на лицах Женьки и Сережи было написано глубокое раскаяние, а в глазах светилась искренняя зависть к нам, которые присутствовали при этой сцене.

Витин папа как-то очень спокойно посмотрел на нас и тихо спросил:

— Вы слышали, что в тридцать седьмом году была война в Испании? Так вот, Александра Леонидовна там воевала, организовывала радиосвязь. Она большой специалист в этой области. А затем она воевала на финском фронте, а затем во время Отечественной войны организовывала связь с Большой землей для наших разведчиков и партизан и попала в один из самых страшных немецких лагерей, в Равенсбрук. Она — инженер-полковник и награждена двумя орденами Красного Знамени, и двумя Отечественной войны, и двумя Красной Звезды, и многими медалями.

Мы молчали.

— Ладно, идите, — сказал Витин папа устало. Но вдруг улыбнулся, озадаченно потянул себя за бороду и спросил: — Но как вы все-таки решились на такое?..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

"Три мушкетера" мне нравится. Хорошая книжка. Но "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон", по-моему, просто скучно читать. Я пробовала и не смогла прочесть до конца. Но Витя читал все эти книжки по многу раз и знает их почти на память. Вообще достаточно, чтобы в книге кто-нибудь дрался на шпагах, и Витю от нее уже не оторвешь. Это у него профессиональное. Папа как-то говорил, что парикмахеры ищут в газете статьи о парикмахерах, сапожники — о сапожниках, а писатели — о писателях. Так, очевидно, я Витя.

Витя уже третий год два раза в неделю ходит в школу фехтования при Дворце спорта. Я однажды побывала на соревнованиях, в которых Витя принимал участие. Мне эти сражения на рапирах не понравились, хотя Витя и вышел победителем. Во-первых, не видно лиц — сражаются два манекена в сетчатых масках. К тому же они, как собаки на поводке, — за ними тянется электрический шнур, и как только один притронется к другому шпагой, у судьи загорается лампочка. А во-вторых, это какой-то несовременный вид спорта. Ну кому сейчас придет в голову защищать себя при помощи шпаги!

Нет, уж если бы я занималась спортом, то я изучала бы бокс или еще лучше — самбо. Чтобы уметь постоять за себя в любых обстоятельствах.

Но сегодня я переменяла свое мнение о фехтовании.

Все, или почти все, наши неприятности бывают у нас, как правило, из-за Сережи. Из-за Сережиной привычки устраивать всякие шуточки. Недавно Сережа сказал нам, что у него есть какой-то неродной дядя, а у этого неродного дяди есть какая-то знакомая, а уже у этой знакомой есть то ли бабушка, то ли внучка, которая замужем за каким-то дядей, у которого есть металлический натрий. И что натрий этот обещан Сереже, если он предъявит в дневнике не меньше трех пятерок. А так как он предъявил четыре пятерки, причем одну из них по поведению, то скоро у нас будет столько натрия, что мы его сможем мазать на хлеб вместо масла.

Вначале мы решили, что это обычный Сережкин треп, но вчера он заявил, что идет за натрием и чтоб мы его ждали. Вернулся он без натрия и без всяких других приобретений, если не считать приобретением синяк на правой скуле и куртку, измазанную грязью и кровью.

Сережа рассказал, что получил натрий в небольшой аптекарской бутылочке с притертой пробкой, под слоем керосина, потому что на воздухе натрий разлагается. Натрия в ней было немного, "но все равно жалко".

Когда Сережа возвращался с натрием, начался дождь. Сережа остановился под навесом огромного, такого же, как наш, соседнего дома. Это, вернее, не навес, а такой бетонный козырек, который огибает весь дом. Недалеко от Сережи стояли ребята, которые там живут. Я их знаю — это большие ребята, восьмиклассники, а один, кажется, уже даже в техникуме. Один из них, Петька, — мы его знаем, он драчун и задира — сначала вытолкнул Сережу под дождь, а потом стал его щелкать по голове. Сережа отошел в сторонку, незаметно вытащил из флакона кусочек металлического натрия и бросил этот кусочек под ноги Петьке. Когда перед Петькой затрещал и покатился огненный шарик, он с перепугу закричал: "Шаровая молния!"

Но другие ребята заметили, как Сережа что-то бросил. Они схватили Сережу. И Петька отобрал у него флакон с натрием.

— Ничего, — сказал Витя. — Петька еще пожалеет об этом. Пойдем в ихний двор. Пойдешь с нами? — спросил он у меня. — Не бойся. Девочку они не будут трогать.

Хотя я точно знала, что в этом случае никто не будет считаться с моим полом, я сказала, что пойду.

На следующий день после школы мы отправились во двор, где живут эти ребята. Там такая детская площадка с песком в ящиках, с деревянной горкой, и огорожена она забором. Утром там играют дети из детского сада, а вечером собирается Петькина компания. Они там курят и некрасиво ругаются. Я сама слышала.

Я заметила, когда мы пошли, что в руках у Вити тонкая тросточка с выжженным на ней рисунком и надписью "Привет из Кисловодска".

— Почему ты ходишь с палочкой? — спросила я у Вити. Он ответил, но каким-то неуверенным тоном, что подвернул ногу. Я считаю, что мальчишкам и вообще всем людям нужно давать путь для отступления. Поэтому я сказала:

— Так, может, не стоит ходить? По Витя ответил: — Нет, нет, пойдем. Это не имеет никакого значения.

Наша походная колонна выглядела довольно интересно: впереди шел Витя, чуть прихрамывая и опираясь на палочку, за ним немного слева — я, шагов за пять за нами — Сережа, а уже совсем сзади — Женька Иванов.

Мы вошли во двор и направились к детской площадке. Там сидел на детской качалке этот Петька, против него сидел длинный и худой мальчик, которого я не знала, а еще два мальчика на Петькиной компании играли между собой в футбол маленьким желтым мячиком.

"Четыре на четыре", — подумала я, хотя не была уверена, что мы вчетвером справились бы с одним Петькой.

— Подождите меня тут, — сказал Витя и пошел за забор, а мы "стались снаружи".

— Отдай натрий, — сказал Витя и оглянулся на нас, — а то плохо будет...

— Кто это тут вякает? — сказал в ответ Петька. — А ну, брысь отсюда!

Он наклонился, зачерпнул в горсть песок и швырнул его в лицо Вите. Витя от неожиданности прикрыл лицо рукой, и тогда Петька выпрыгнул из своей качалки и стукнул Витю кулаком в грудь, да так, что Витя сел па землю.

Сережа бросился к воротцам, по тут Витя вскочил на ноги... И произошло самое настоящее чудо. Такого я не видела даже в кино.

Тоненькая тросточка, которую Витя держал в руке, замелькала в воздухе так, словно у Вити было сто рук и сто тросточек. Петька отскочил от Вити, а те мальчишки, которые играли в футбол, бросились Петьке на помощь. Но Витя ткнул одного тросточкой в живот, а другого тоже в живот и в плечо и снова принялся за Петьку и за того второго, который сидел на качалке и не успел встать. И тогда Петька с криком "Я тебе покажу!.. Я сейчас милицию

позову!.." бросился наутек, а затем через забор стали перепрыгивать и убежать остальные ребята.

Витя остался на площадке один. Бледный и веселый, он сказал нам:

— Боюсь, что все-таки пропал наш натрий. Сережа, который даже приплясывал от удовольствия, ответил, что за такое зрелище не жалко натрия.

Мы пошли назад. Теперь мы шли тесной группой, и Женька Иванов то забегал вперед, то пристраивался сбоку возле Вити, который, чуть прихрамывая, чуть опираясь на свою тросточку — я уверена, что прихрамывал он нарочно, — всем своим видом подчеркивал, что ничего особенного не произошло, что сам он не видит никакого героизма в том, что победил четырех мальчишек, каждый из которых сильнее его.

Странное дело — девчонки из нашего класса много говорят о любви, а Таня Нечаева и Вера Гимельфарб уже даже целовались с мальчишками. И когда Таня Нечаева после уроков в пустом классе целовалась с Борькой Сафроновым из 8-го "Б", это увидела уборщица и позвала завуча, и был страшный скандал, а потом наша русачка Елизавета Карловна — она у нас руководитель класса — провела с нами беседу на тему "Половое воспитание" и сказала, что Чехов писал, что нельзя целоваться без любви, или нет, не Чехов, а Николай Островский. А Чехов писал, что в человеке все должно быть красиво, хотя, по-моему, это неправильно, потому что если у Веры Гимельфарб кривые ноги, так что же ей, не жить на свете? Или оперировать их?..

Но дело не в этом. В общем, Елизавета Карловна говорила, что мы должны иметь девичью гордость, а мальчики должны иметь мужскую гордость, но когда мы спросили ее, что же все-таки такое любовь, она так и не смогла толком ответить, а опять говорила про Чехова, Николая Островского и Пушкина, про "Я помню чудное мгновенье", про "Я вас любил, любовь еще быть может" и про другие стихи.

Но вот на днях какая-то тетя читала по радио лекцию и сказала, что любовь — это прежде всего "эффект присутствия", то есть человека, которого любишь, все время хочется видеть, хочется, чтобы он присутствовал. Если так смотреть, то выйдет, что я очень люблю и Витю, и Сережу, и Женьку Иванова, потому что я постоянно хочу их присутствия и мы постоянно вместе.

Однако с мальчишками я никогда в жизни не стану целоваться. Я вообще не люблю целоваться, мне это не нравится, и никакой особенной любви, про которую пишут в книгах, пи к Вите, ни к Сереже, ни тем более к Женьке Иванову я никогда не ощущала. И все-таки сегодня, когда мы с видом победителей возвращались к себе из двора чужого дома и не хватало только оркестра и торжественного марша, я вдруг подумала, что мне неприятно, что Витя в последнее время часто разговаривает с Леной Костиной. И о чем они могут говорить?

Лена круглая отличница, лучшая ученица в нашем классе. И, кроме того, она самая красивая девочка, может быть, не только в классе, но и во всей школе. У нее лицо, как на иконах, и черная коса, и темные глаза, очень большие, честное же слово, каждый глаз у нее, как рот, и длинные, загнутые кверху ресницы, как у женщин на мыльных обертках.

Но она не интересуется ни химией, ни историей, и когда с ней разговариваешь, так уже через пять минут на тебя нападает страшная тоска. Разговаривать с ней еще скучнее, чем с Елизаветой Карловной. Так о чем же с ней говорят Витя?

И когда я думала обо всем этом, я представила себе лицо этой Лены, и то, что она отличница, и

то, что Витя один справился с целой компанией сильных мальчишек, и что он разговаривает с Леной, и что у его отца есть автомашина "Волга", и то, что он умеет водить автомашину, что я некрасивая, и это я выдумала, что у меня какие-то особенные глаза, — глаза у меня самые обыкновенные...

И мне стало так грустно, так захотелось плакать, что я буркнула: "Я уже иду" — и убежала домой. Дома я сняла только пальто и туфли и прямо одетая легла на постель. Я немного поплакала, а потом написала стихи:

Сюда частенько приходят выпить,
Консервные банки лежат на дне.
Течет ручей грязноватый — Лыбедь.
А раньше был он таким, как Днепр.
Каким же тогда был Днепр?
Ревут бульдозеры громче танков,
Ровняют пласты земли.
В серой воде, словно падший ангел,
Желтый кленовый лист.
Он светел и золотист.

Я не знаю, почему я написала такие стихи, но я подумала, что это стихи о любви. В них ничего такого нет, но, может быть, так и пишут стихи о любви?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мой папа работает в газете. Он называет себя литрабом. Это сокращенно, а в действительности его должность называется литературный работник.

Вообще на всякой работе, очевидно, бывает много своих особенных слов. Даже у нас в школе много таких слов, которых другие люди не знают. Вот, например, у нас ругаются словом кануздра, а никто не знает, что это такое. Я смотрела в словаре у папы — там такого слова нет. И ребята из других школ не знают, что так можно ругаться. Но мы-то все, начиная от первоклассников, знаем, что кануздра — это вроде свинья, или сволочь, или еще что-нибудь похуже.

Но особенно много своих слов бывает в редакции. Вот, например, в редакции есть должность "свежая голова". Это человек, который дежурит в типографии, и уже ночью, самым последним, "на свежую голову" читает газету, чтобы не пропустить какую-нибудь ошибку.

Когда папа дежурит "свежей головой", он возвращается домой очень поздно, среди ночи. Но зато на следующий день он свободен и поэтому я очень люблю, когда он "свежая голова". Жалко только, что это редко бывает — два раза, а то и раз в месяц.

В такой день, как только я прихожу из школы, мы с ним быстро едим вдвоем — мама еще на работе, а потом отправляемся гулять. Программу прогулки мы составляем за день, а то и за два дня до его дежурства. Мы долго обсуждаем эту программу, а потом папа печатает ее на машинке, и мы ее вешаем на стенку.

На завтра у нас такая программа:

1. Обед в ресторане "Динамо". В меню холодный язык под хреном, судак, зажаренный в тесте, по двести граммов мороженого, а супа не брать, если нам его даже предложат бесплатно.

2. Поездка на метро на станцию "Днепр". Испить "шеломами" воды из Днепра. Взять с собой "шеломы" и плащи на случай дождя. !

3. Посещение зоологического музея университета и осмотр там коллекций бабочек, а также скелета динозавра.

Гулять с моим папой очень здорово, и мы часто ходим с ним всей нашей компанией. Вот, например, мы побывали с ним в Софии, и он так рассказывал нам о князе Ярославe Мудром, который построил эту Софию, не сам, понятно, построил, но под его руководством, о Киеве того времени, что мы все слушали его с раскрытыми ртами, и я им просто гордилась.

Но в нем много мальчишеского, и иногда он хулиганит, как школьник. В прошлый раз я была очень недовольна этим и даже боялась, что нас арестуют.

Сережа, Витя, Женька Иванов и я пошли с ним в Ботанический сад. Сначала мы пошли за экскурсоводом с группой экскурсантов. Но экскурсовод рассказывал очень скучно, и мы отстали от него, съели по порции мороженого и выпили из автомата по стакану воды с сиропом, а потом папа сказал, что он сам будет нашим экскурсоводом. И он начал останавливаться перед первыми попавшимися деревьями, например, перед обыкновенным кленом, и объяснять, что это дерево по-латыни называется "гаудеамус игитур", хотя я-то знаю, что это первые слова студенческой песни, которую папа часто поет, и обозначают они "радуйтесь молодые". Затем он сказал, что из листьев этого дерева племя пигмеев мумбо-юмбо готовит опьяняющий напиток, под названием "водька", что кора используется для изготовления ценных украшений для женщин, а из древесины готовят противотанковые снаряды и стулья для заместителей министров, настолько она прочна и тяжела. А вокруг нас стали собираться люди, и я увидела, что их становится все больше и больше, и почувствовала, что это может плохо кончиться.

Но особенно я испугалась, когда перед обыкновенной акацией, подражая скучному голосу экскурсовода, папа стал говорить, что это дерево анчар, о котором Пушкин написал свое знаменитое стихотворение:

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопись от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит
И тигр нейдет — лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горючий.

Какая-то женщина, из тех, которые всегда и всюду требуют жалобную книгу, стала кричать, что это безобразие, почему дерево не огородили и не сделали надписи.

Но папа ответил, что хорошее влияние нашей почвы перевоспитало дерево, и оно теперь больше не ядовито, а используется в воспитательных целях, как декоративное растение. А уже после этого папа сказал, что он совсем не экскурсовод и что он просто в частном порядке делится своими небольшими знаниями в области ботаники со своими многочисленными

детьми.

— А почему вы выдаете себя за экскурсовода?

— Это я нечаянно, — ответил папа, и я потащила его за рукав, и мы бы благополучно ушли, если бы не любовь Сережи ко всяким глупым шуточкам.

Сережа где-то достал баллончики со сжатым газом и пристроил в камеру от мяча приспособление, чтобы пробивать крышечку такого баллончика у себя под рубашкой.

Когда эта тетя стала кричать на папу, Сережа незаметно сдавил рукой свое приспособление и вдруг на глазах у присутствующих стал пухнуть — у него вздулся огромный, как шар, живот.

Он стоял прямо против этой тетки, а она смотрела, как он раздувается, и вдруг стала кричать:

— Мальчик лопается! Мальчик лопается!

А потом, когда увидела, что Женька Иванов — они с Сережей заранее прорепетировали этот номер — выставил вперед над головой пальцы, как рожки, и бросился, наклонясь, на Сережин живот, чтобы боднуть его, тетка закричала: "Ой, они все тут сумасшедшие!" — и бросилась наутек. А я схватила папу и Женьку за руки и потащила их в другую сторону. Мы забрались в пустую аллею и так там хохотали, что нас действительно можно было принять за сумасшедших.

Конечно, у папы бывают и обыкновенные выходные дни, как у всех людей, но это совсем не то, что после дежурства "свежей головой". Не бывает таких приключений, таких неожиданностей.

Сегодня папа дежурит. А с мамой происходит что-то странное. Взрослые очень ненаблюдательны. Они слишком заняты собой, а кроме того, они очень часто относятся к детям, как к полоумным. Мне не раз случалось слышать, как взрослые при детях разговаривают друг с другом намеками, а детям все понятно. Или говорят то, чего не следовало говорить, и вдруг спохватываются: "Ах, здесь ребенок!" А ребенок никогда не станет говорить или делать при взрослых то, чего не следует, никогда не забудет о присутствии взрослого. И всегда заметит в поведении взрослого какую-нибудь странность. Да и можно ли считать ребенком девочку или мальчика тринадцати лет, о которых взрослые постоянно твердят: "Вот мы в вашем возрасте..."

Сегодня вечером мама надушилась немецкими духами с унижительным названием "Последний шанс". Это какие-то очень дорогие духи, душится мама ими редко, а пахнут они, несмотря на название, в самом деле очень приятно. Надела она и новые, ни разу не надеванные чулки, и светлые туфли, о которых она сама говорила, что они ей жмут и что она их никогда и ни за что не наденет. Кроме того, она надела сначала темно-синий шерстяной вязаный костюм — он называется джерси, потом сменила его на новое зеленое шерстяное платье, а потом снова надела костюм.

Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, что мама готовится к чему-то важному. А когда она спросила у меня, почему я не пойду погулять, мне стало ясно, что к нам должен прийти какой-то человек, что мама этим взволнована и что она не хочет, чтобы я с ним встретилась. Кто бы это мог быть?

У меня мелькнула мысль сказать, что у меня болит голова и что я поэтому не хочу гулять, но я представила себе, как заволнуется мама, которая очень не любит, когда я болею, и поставит мне термометр и заставит принять аспирин и лечь в постель, и спросила, когда мне вернуться.

— В девять. Ровно в девять, — сказала мама. — Только, — решила она вдруг, — переоденься. Надень серую юбку и красный пуловер, который я купила тебе в Ленинграде.

Я поняла, что мне предстоит встретиться с человеком или с людьми, которые придут к маме, и переоделась.

Во дворе я никого не застала, никого не нашла и на улице. И я решила просто немножко побродить. Очень приятно ходить по осеннему Киеву. У нас в самом деле город-сад. И какой-то поэт правильно написал:

В синеве каштаны, липы, клены,
Лист каймой очерчен золотой.
Киев, Киев, город нэпе зеленый,
Тронутый осенней красотой...

А кроме того, я люблю рассматривать витрины магазинов, особенно когда там выставлены часы, бинокли, фотоаппараты. И еще транзисторы. Вообще-то мне не очень нравится, когда идет по улице человек и у него из брюха раздается музыка, потому что на брюхе транзистор, или когда включают транзисторы в троллейбусах или в парках. Но мне самой очень бы хотелось иметь транзисторный приемник. С таким крошечным наушником, как ото теперь делают. Чтобы слушать его одной и никому не мешать.

Я шла от магазина к магазину, и возле центрального гастронома со мной было неприятное происшествие. Я посмотрела на витрину и отвернулась, чтобы идти дальше, как вдруг увидела, что из дверей магазина вышел и идет прямо на меня тот старик, который забрал мой фотоаппарат.

Витя был прав. На этот раз плащ на нем был расстегнут, и я увидела, что под плащом нет даже рубашки, только на груди свалывшиеся седые волосы. Мне показалось, что старик этот меня узнал, и я очень испугалась.

С ужасом я подумала, как плохо все-таки, что милиция допускает, чтобы по городу ходили такие отвратительные старики, и я как-то замерла и вся сжалась и не могла даже сдвинуться с места. Но он, наверное, даже не видел меня. Он прошел мимо, совсем рядом. От него плохо запахло, и он бормотал ругательства. И вдруг он обернулся, сказал: "Здоров, сынок" — и сел прямо на асфальт возле фонаря, а затем лег.

Асфальт был очень холодным. Я понимала, что старика этого нужно поднять, но боялась. Потом я подумала, что, может быть, он умер, и испугалась еще больше. И я стала говорить прохожим: "Человек упал. Надо позвать "скорую помощь". Возле меня остановилась еще какая-то женщина в ватнике и с кошелкой, и мне уже не было так страшно. Два прохожих — один постарше, в шляпе и с тростью, а другой помоложе, с портфелем, — стали поднимать этого старика, но он был жив, потому что он начал плохо ругаться и кричать, что он никуда не пойдет. Они его все-таки подняли на ноги, но он снова повалился на тротуар. Тут подошел милиционер и сказал, что отвезет этого старика домой.

— Я не пойду в вытрезвитель! — стал кричать неожиданно пришедший в сознание старик, но милиционер помог ему встать, стал его уговаривать и остановил проезжавшую машину. Старик сопротивлялся, но милиционер его все-таки посадил в машину и сел рядом с ним, а я пошла домой.

И странные, горькие мысли были у меня в голове. Ведь этот старик, этот пьяница, который настолько утратил человеческие черты, что запугивал меня и забрал мой фотоаппарат, и

валяется на улице, на холодном асфальте, этот человек был когда-то мальчиком, школьником, таким, как Витя или Сережа, и тоже слушал на уроке про Лермонтова или Николая Островского. И учил на память стихи Пушкина, и читал "Как закалялась сталь". Но если человек знает стихи Пушкина и читал "Как закалялась сталь", он ведь не может после этого забрать чужую вещь, пьянствовать, ругаться и валяться на асфальте. Неужели нет таких книг и стихов, прочитав которые человек понял бы, как все это плохо, и навсегда отказался от этого?

И неужели Витя, или Сережа, или Женька Иванов могут когда-нибудь стать такими, как этот старик? Не может этого быть. Потому что тогда бы не стоило ни жить, ни учиться, ни работать.

Я вернулась домой в очень плохом настроении. Мама спросила, приготовила ли я на завтра уроки, и я ответила, что приготовила, хотя я не сделала домашнего задания по физике. Но "не хотелось готовить сейчас домашнее задание, и я решила, что спишу его завтра в школе у Сережи.

Как только я вошла в комнату, я сразу поняла, что человек, которого ждала мама, не пришел: на столе в стеклянной вазе остались яблоки, груши и виноград, так же красиво уложенные, как и перед моим уходом, — мама очень красиво умеет складывать фрукты, ни в одной витрине они не лежат так естественно и небрежно.

Мама читала книжку, которую я уже давно прочла, — "Консуэло" — и прислушивалась к двери, а я взяла старый номер журнала "Юность", и мы обе сидели и читали. В половине десятого мама сняла свой шерстяной костюм и надела домашнее платье из черного вельвета. Есть у нее такое платье, оно длинное и немодное, но маме в нем лучше всего, она в нем похожа на герцогиню.

— Ну, иди умойся и ложись спать, — сказала мама. — Почисть как следует зубы.

Я, как всегда перед сном, умылась под тепленьким душем и почистила зубы и пошла спать с тяжелым, гнетущим чувством, которое, как я понимаю, может толкнуть человека на самый неожиданный поступок — даже на пьянство, даже на предательство, с чувством, что все в этом мире бессмысленно и бессвязно.

Мне приснились странные стихи:

Дождь с отчаяньем бьет кулаками в окно
Так бывает весной.
Люди тихо встают, друг па друга глядят
И уходят под грохот дождя...

Мне часто снятся стихи, но я их обычно не запоминаю, а сегодня запомнила, потому что проснулась от звонка в дверь. Я подумала, что уже утро, но не открыла глаза, а стала повторять про себя приснившиеся мне стихи, пока не выучила.

Я услышала в передней мужской голос:

— Извини, что так поздно. Не смог раньше выбраться... И мама в ответ:

— Ничего, я думала, что ты уже не придешь. И оделась по-домашнему. Пойдем в комнату. Только разговаривать нам придется тихонько: Оля спит.

— Так рано? — спросил уже в комнате грубым шепотом мужской голос.

— Половина одиннадцатого. Она в первой смене.

— В шестом классе?

— Нет, в седьмом. Садись, пожалуйста.

— А где твой муж?

— Он сегодня дежурит. В редакции.

— Жалко. Значит, я с ним не встречу. Завтра я улетаю. А хотелось бы с ним познакомиться. Посмотреть, на кого ты меня променяла.

— Ты до сих пор летаешь? — спросила мама. Они оба перешли с шепота на обычный разговор.

— Нет. Теперь я пассажиром.

Я лежала, закрыв глаза и зажав сложенные ладони между коленок, как во сне, и не знала, снится ли мне этот разговор или он происходит на самом деле. Но когда мужской голос сказал: "И так далее, и так далее", я поняла, что приехал мой отец. У меня нет к нему никаких родственных чувств, и папой я называю Николая Ивановича, которого очень люблю и который для меня очень хороший папа, но все-таки мне было интересно, какой он, мой отец, похож ли он на меня, почему он нас оставил.

— Семья у тебя есть? — спросила мама.

— Да. Жена. Двое детей. Сыновья.

— Зачем ты приехал?

— Я тут в командировке. Ну, и хотел повидать тебя. И дочку. У нее моя фамилия?

— Нет. Она — Алексеева.

— Что вы ей сказали обо мне?

— Что ты погиб. В авиакатастрофе.

— Это плохо, Лена, — серьезно и спокойно сказал мой отец. — Это очень плохо. Сначала ты обманула меня. Затем ты обманула девочку.

— Я не могла ей сказать. Пусть сначала подрастет.

— Сказать дочке, что ее отец, который перед тобой ни в чем не виноват и от которого ты ушла к другому, погиб, — это значит пожелать ему этого. Но я не суеверен... Как относится к Оле твой муж?

— Хорошо относится. Он не только мой муж, но и ее отец. На протяжении десяти лет. А ей — тринадцать.

Значит, меня обманывали. Для моей же пользы. Детей бьют для их же пользы. Чтобы они были хорошими и, когда станут взрослыми, правильно воспитывали и не били собственных детей. Детей обманывают для их же пользы. Чтобы, когда они вырастут и станут взрослыми, они хорошо знали, что обманывать нельзя.

И горько мне было думать, что это не мой отец, которого я и не знаю, оставил нас с мамой, а мама со мной оставила его, и что мой папа не был таким человеком, какой, как я себе представляла, в трудную минуту помог нам, поддержал нас, сказал, что не допустит, чтобы моя мама осталась без мужа, а я без отца, а был тем самым человеком, из-за которого мол мама ушла от моего отца... Я много раз читала о таком в книгах, но никогда не думала, что столкнусь с этим сама.

Конечно, правильнее всего было бы сейчас подняться, надеть платье, выйти из-за занавески, которая отгораживает меня от этих людей, и сказать им: "Я все слышала. Я не спала. Я еще прежде об этом догадывалась. Меня обманывала мама. Меня обманывал папа. Но ведь и вы, родной мой отец, меня обманывали, если столько лет молчали. Значит, я вам совершенно не нужна..."

Но я понимала, что этого нельзя сделать, что я тоже втянута в эту странную игру, которая больше всего напоминала мне нелепое развлечение, какому предавались мы в детском саду: одна из девочек читала стишок, а другие ей отвечали. Стишок был такой:

Барыня прислала сто рублей:
Что хотите, то купите,
Да и нет не говорите,
Белого и черного не покупайте...

"И так далее, и так далее", как говорит мой отец. Точно так и в человеческой жизни — кажется, что можешь делать все, что хочешь, а оглянешься, и выяснится, что и того нельзя, и этого не следует.

А они тем временем разговаривали, как совершенно чужие люди, о каких-то давних общих знакомых, о том, как я учусь, и мама сказала, что на "отлично", как будто что-то изменилось бы, если б она сказала правду. А он говорил, что у его мальчиков тройки. И я уже не знала, так ли это, а может быть, они отличники и он говорит это для того, чтобы маме было приятно, что у нее дочка-отличница, а у него мальчики-троечники.

Я им просто не верю. Все, что они говорят, нужно принимать с большой поправкой, со скидкой. И я подумала, что если бы люди так поступали не в духовной, а в материальной области, то продавцы в магазинах взвешивали бы товары не на весах, а просто на ладони, деньги бы за это платили в крепко запечатанных и плотно завязанных пакетах, а на книгах бы клеивали названия и авторов...

И под эти разговоры о том, где и кто был в отпуске, и какая температура в июне в Новосибирске, где живет теперь мой бывший отец, и о том, какие полы лучше — паркетные или покрытые пластмассовой плиткой, я заснула.

Утром я проснулась первой — папа поздно встает после дежурства. Я пошла на кухню с чувством, что в комнате было что-то странное. И вдруг сообразила: на блюде лежали все яблоки, груши и виноград так, как их с вечера уложила мама. Их никто не тронул. Им было не до этого.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я все это видела. Своими глазами! Я ничего не придумала. Сначала это был дом с белыми колоннами у входа, со стеной, увитой плющом или диким виноградом, а слева рос один кипарис или тополь — издали нельзя было разобрать. Затем дом повернулся как бы боковой

стеной, и за ним открылась широкая аллея, обсаженная деревьями и кустарниками, а справа от аллеи канава. По аллее поехала старинная карета, она ехала от меня, и мне была видна только ее задняя часть. Но вот карета повернула вправо, начала вытягиваться и превратилась в автомашину — длинную, черную, лакированную, похожую на "Чайку", только длиннее. Затем появился деревенский колодец с журавлем, а мимо него прошли две коровы.

Я подвинула голову, и все исчезло. А потом, когда я попробовала найти точку, с которой все это было видно, наш физик Борис Борисович сказал:

— Алексеева, тебе следует проветриться. Выйди из класса, походи по коридору и вернись. Может быть, после этого наука не будет тебя так усыплять.

В классе засмеялись, хотя в том, что сказал наш учитель физики, по-моему, не было ничего смешного. Хорошо было бы, конечно, в самом деле выйти из класса, но физик говорил это не для того, чтобы я вышла, а для того, чтобы я подняла голову с парты. И я действительно села ровно.

Конечно, мне следовало бы после урока, на перемене, спросить у Бориса Борисовича, что же такое со мной сейчас происходит. Но он мне поставил двойку и вопрос мой мог принять за насмешку. А случай был и в самом деле странный.

Я не плакса. Но сегодня, когда физик мне поставил двойку за то, что я не сделала домашнего задания — у меня было такое настроение, что я просто забыла списать его у Сережи, — я почувствовала, что у меня закапали слезы. Тогда я наклонилась над партой и положила голову на руку. Нечаянно я посмотрела на мокрое выпуклое пятнышко, которое получилось на черном лаке парты, куда капнула слеза, и вдруг увидела, как это пятнышко стало меняться, словно маленький цветной экран. При этом картинки, которые я увидела, получались не по моему желанию и сменяли одна другую без моего участия, как в кино. Я думаю, что это явление имеет физическое объяснение, что я невольно двигала глазом, и при этом световое пятнышко в капельке соленой воды на черном фоне создавало какое-то подобие разных картин, а я уже воображала их дальше. Люди в рисунке обоев или в облаках видят то людей, то животных, то танцовщиц, то самолеты.

Прежде я никогда не плакала, если получала двойку. Чаще всего я получала двойки за сочинения. И не за ошибки — я пишу грамотно и за диктовки у меня всегда пятерки, — а за содержание. У меня всегда плохое содержание в сочинениях. Я не умею их писать и пересказываю то, что прочла в книге, а когда я попробовала придумать по-своему, то получилась вообще какая-то глупость, и русачка сказала, что мое сочинение написано по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядько".

Но я понимаю, что двойки ни для одного человека не проходят бесследно. Они унижают человеческое достоинство. И я тоже плакала, не потому, что получила двойку по физике, а потому, что не сделала урока и забыла переписать его у Сережи и что жизнь у меня складывается так плохо и так неудачно.

Мне очень многое нужно было обдумать. Жалко все-таки, что у человека нет крыльев. Я бы встала сейчас на подоконник, взмахнула большими темно-синими полупрозрачными крыльями и медленно летела бы по осеннему небу. Навстречу мне дул бы ветер, у меня бы слезились глаза, и я бы плотно закрыла рот, и мне бы совсем иначе, совсем по-другому думалось... И я бы тогда придумала что-то очень умное и правильное о том, как я должна жить и как должна относиться к своей маме, и к своему папе, и к своему родному отцу, которого я не знаю и не люблю и который не знает и не любит меня.

Я не уверена, что такое сравнение подходит, но когда я училась во втором классе, меня послали в детский санаторий в Святошино — это под Киевом, — и я там пробыла целых два месяца. И когда я вернулась домой, мне наша комната показалась очень маленькой, такой маленькой, как коробочка. Я сказала об этом папе и маме, и они очень смеялись. Там у нас в санатории были большие палаты, в которых мы спали, и большие залы и веранды, где мы играли.

Мой родной отец тоже оказался совсем не таким великаном, как я это воображала, а человеком обыкновенного роста, может быть, только чуточку выше папы, с очень полным красным лицом и очень белыми зубами. Он догнал меня на улице, когда я шла в школу.

— Подожди, девочка, — сказал он. — Ты Оля Алексеева?

— Да, — ответила я. — Здравствуйте. Я его узнала по голосу.

Я так растерялась, что не остановилась, а по-прежнему шла в сторону школы, а он шел рядом со мной.

— Я через час улетаю, — сказал мой родной отец. — Да и тебе нужно в школу. Времени у нас совсем немного, а мне хотелось с тобой поговорить.

Он остановился, взял меня за плечи, повернул к себе и посмотрел в глаза.

— Тебе говорили, что твой отец погиб?

— Да, говорили.

— Он не погиб, Оля...

— Я знаю, — сказала я. — Я не спала. Я слышала все, что вы говорили с мамой. Я еще прежде догадывалась об этом.

Мой отец был неприятно удивлен моими словами.

— Ты что же... подслушивала? — спросил он брезгливо.

— Нет. Я просто не спала.

— Все равно нехорошо.

— Что же, мне надо было уши заткнуть, что ли? — сказала я грубо.

— Иногда не мешает и заткнуть. Ты должна была сказать, что не спишь.

— В следующий раз я скажу, — буркнула я неожиданно для себя.

Мой отец растерянно и виновато заморгал глазами.

— Ты не сердись, — сказал он медленно. — Ты уже большая девочка. И еще не раз ты убедишься, что жизнь — очень сложная штука.

Я в этом уже убедилась. Я не понимала только, к чему он все это говорит. Взрослых часто трудно понять. А иногда и совсем невозможно.

— Я очень уважаю и очень люблю твою маму... Хотя если ты не спала и слышала разговор, то понимаешь, что она меня когда-то очень обидела. Но я ее не осуждаю.

"Чего он хочет? — думала я. — Зачем он все это говорит?" И сказала:

— Извините, но я опоздаю в школу.

— Да, да, ты можешь опоздать, — пробормотал мой отец. — Короче говоря, я... вот что... Я хотел спросить: не обижает тебя отчим? Ты уже большая девочка и понимаешь — бывает до-всякому... И можешь уже сама многое решать... Может, надумаешь переехать ко мне... Я живу в Новосибирске. Так в любую минуту...

— Нет, — сказала я. — Папа меня никогда не обижает. Мне почему-то вдруг показалось очень обидным, что он о моем папе сказал "отчим".

— Ну что ж, — сказал мой отец. — Тем лучше. И все-таки помни: я всегда приму тебя, всегда помогу...

Нужно было сказать "спасибо". Нужно было улыбнуться. В конце концов, мои родители плохо поступили с моим родным отцом, и, в конце концов, это совсем не дело, что даже поговорить со своей дочкой он может только по дороге в школу.

Но я не улыбнулась и не сказала "спасибо". Может быть, он очень хороший человек, но он мне не нравился, и я радовалась, что у меня другой папа. Если бы можно было выбирать себе родителей, то из всех людей, которых я знаю, я выбрала бы себе в папы только моего.

— Ну что ж, Оля, до свидания, — сказал мой отец, так и не дождавшись ответа. — Жалко, что встреча у нас получилась такая горбатая... Ну, да уж тут ничего не поделаешь. А маме лучше не говорить, что мы виделись... Не расстраивай ее напрасно. Однако смотри сама. И еще одно: вот мой адрес. Напиши мне. Да и побереги этот адрес. Он еще может пригодиться... В жизни, знаешь, по-всякому случается.

Мы попрощались, он мне крепко пожал руку, и я пошла в школу, раздумывая о том, какая страшная угроза была в его последних словах, какие ужасные события должны произойти для того, чтобы мне понадобился этот адрес. Неужели он сам не понимал, что переехать в Новосибирск я могу только, если умрут мои родители, и сказать "в жизни всякое бывает" — это значит предусмотреть такую возможность. Нет, не прибавила мне хорошего настроения эта встреча.

И плакала я не из-за двойки, а из-за всего этого.

На перемене ко мне подошел Коля Галега, по прозвищу "Самшитик". Он выше всех в классе и старше всех — он второгодник, но лицом он похож на первоклассника. Самшитиком его прозвали за тупость. Сначала его звали Дубом, но когда оказалось, что он не помнит как следует таблицу умножения, Витя предложил называть его Самшитиком — самшит еще тверже дуба.

Коля Галега спросил у меня, не хочу ли я обменять марки на царские бумажные деньги, а когда я ответила, что не собираю ни марок, ни денег, сказал, что пересядет за мою парту. Мне теперь было все равно, и я сказала: "Садись".

В начале учебного года я сидела с Таней Нечаевой, но мы болтали на уроках, и Елизавета Карловна нас рассадил. Теперь я сижу одна на второй парте в крайнем ряду у окна. В нашем

классе двадцать парт, а учеников только тридцать семь. Есть поэтому свободная парта и еще одно место, а Елизавета Карловна, наш классный руководитель, очень любит пересаживать учеников с места на место.

Следующий урок был русский. Коля сел за мою парту и оглянулся кругом с таким выражением, какое бывает на лицах у людоедов в иллюстрациях к детским книжкам — не посмотрит ли кто-нибудь на это косо, — а затем спросил у меня:

— Ты по утрам зарядку делаешь?

— Нет, — ответила я. — Не успеваю.

— А я делаю. С кирпичами вместо гантелей. Пощупай, какие бицепсы.

Я пощупала. Бицепсы как бицепсы. Вероятно, здоровые. Мне не с чем сравнивать.

— О, — сказала Елизавета Карловна, когда вошла в класс, — а Галега уже сел с Алексеевой. Подобное ищет подобного, как говорит пословица, двоечник двоечницу.

Лена Костина захихикала. У нее очень красивое лицо и мелодичный голос, а смех неприятный, как у людей, которые смеются только тогда, когда им самим этого хочется, как бы сознательно, а рассмеяться непроизвольно, просто от всей души — не умеют.

— Ну что ж, сидите, — решила Елизавета Карловна, — по крайней мере Галеге не у кого будет списывать контрольные.

И Елизавета Карловна стала нам рассказывать о риторических восклицаниях, риторических вопросах и риторических обращениях, а когда она говорит о литературе, можно услышать, как пролетает муха. У нас в классе почему-то нет мух, но если были бы, можно было бы услышать, как они летают, такая в классе тишина. Елизавета Карловна тогда совсем другая, она говорит совсем иначе, чем обычно, и ее маленькие, свинцового цвета глаза начинают светиться за стеклами очков, как звезды. И все ею любят в такие минуты.

На перемене Коля загородил мне выход и сказал:

— Подожди. Я у тебя хотел спросить... — Он замялся. — Как ты относишься к фашизму?

— А какое тебе дело? — ответила я.

— Да нет, я ничего, — сказал Коля. — Я просто выменял на марки фашистский орден "Железный крест". Так я могу тебе его подарить.

— Мне не нужно, — сказала я. — Но при чем здесь фашизм?

— Да некоторым не нравится, когда орден фашистский. А я думаю — все равно. Ведь это коллекция. Так что же — вражеские ордена выбрасывать?

— Нет, — сказала я, — не нужно выбрасывать.

— А ты какую коллекцию собираешь? — спросил Коля.

— Консервных ножей, — ответила я. — Только не я, а папа.

— Брось, из консервных ножей коллекций не делают. А кто такой твой батя?

— Журналист. Он в газете работает.

— Зачем же ему консервные ножи?

Начался третий урок. Английский. Коля сидел рядом со мной и, прикрыв рот ладонью, шептал:

— А у меня батя — милиционер. А матя плетет сеточки.

— Какие сеточки?

— Ну, авоськи. Она в мастерской работает. Надомницей. Я ей помогаю. Тоже плету сеточки. И я тебе скажу один секрет, который никому не говорил. Я тут только до весны. А весной убегу на Камчатку, там у меня дядька. Моряк. Я юнгой пойду. Хотя матю, конечно, жалко...

Я слушала Колин шепот и думала о том, какое большое до-верие к человеку может вызвать полученная им двойка по физике.

Перед четвертым уроком — у нас была история — Коля, глядя не на меня, а на парту, негромко сказал слова, всю важность которых я поняла лишь позже, во время урока, когда я над ними как следует подумала и когда мне вдруг стало жарко в щеках и мокро в глазах. Он сказал:

— А на уроках ты со мной не разговаривай. И не вертись.

Я с ним не разговаривала и не вертелась. У меня было такое настроение, что мне было не до разговоров. Это он все время разговаривал.

Коля помолчал, а когда вошел историк и все встали, он добавил негромко:

— А то они нас рассадят.

Весь урок Коля молчал, а когда Михаил Иванович сказал, что "древнерусские князья, несмотря на отдельные неудачи, все время расширяли древнерусское государство и в интересах феодалов все время облагали данью трудовое население", он прикрыв рот ладонью и тихо прошептал:

— Больше тебя никто не обидит. Никогда. Я убью, если кто тебя обидит. И плакать ты больше никогда не будешь.

Прежде мы возвращались из школы все вместе: Витя, Сережа, я и Женька Иванов. Если у Женьки было пять уроков, а у нас шесть, то он все равно нас ждал и гонял пока в школьном дворе мяч или играл с пацанами в самую запретную игру "коцы", когда столбиком на земле складываются полученные от родителей на завтрак монетки и их нужно перевернуть ударом особого битка, обычно екатерининского пятака.

Но в последние дни из нашей компании при возвращении домой выпал Витя. Он говорил, что у него заболела тетка, что мама поручила ему навещать эту тетку после школы, но мы-то знали, что он просто уходит из школы с Леной Костиной и провожает ее по бульвару до дома, а потом они еще ходят возле ее дома взад и вперед. Но мы не сказали Вите, что знаем об этом: нам это было бы еще более неловко, чем ему.

Но сегодня и я откололась от нашей компании. Перед последним уроком Коля сказал:

— Я, понимаешь, сплел интересную сеточку. Не из ниток, а из лески... Из белой, голубой и зеленой. Батя говорит, можно на Выставку достижений народного хозяйства. Только я это не

для мастерской, а для себя... В мастерской сеточки нитяные. Так вот, пойдем после школы к моему дому, я тебе ее вынесу — я сколько хочешь могу таких сплести, а потом я тебя назад к дому провожу. Если захочешь. Ты не опоздаешь, не бойся.

Я сказала Сереже и Женьке, которые меня ждали, что иду с Колей за сеточкой. Я очень боялась, что они скажут, что пойдут с нами. Но ни Сережа, ни Женька не спросили даже, за какой сеточкой. Они только не смотрели на меня, как не смотрят хорошие люди на человека, который врет. Я много раз замечала, что чаще стесняются и стыдятся не те, которые врут, а те, которые слушают.

Сережа и Женька ушли, вернее, не ушли, а тут бы больше всего подошло слово, которое они так часто употребляют, "смылись", незаметно исчезли, а я пошла с Колей в сторону, прямо противоположную моему дому. Шел Коля молча, посапывая носом и глядя под ноги. Я тоже молчала и не понимала, для чего я пошла с Колей, зачем мне нужна эта сеточка-авоська. И еще я думала о том, что меня ждет папа, что он вчера был "свежей головой" и сегодня мы по нашей программе должны были пойти в ресторан, и какая это вкуснющая штука — судак в тесте с соусом тартар, что, как объяснил мне папа, означает адский. И что очень хочется есть. Но что все равно в ресторан мы не пойдём, потому что я получила двойку по физике, а у нас когда-то был договор, что если я получу двойку — прогулка отменяется. И что мне все равно не хочется гулять с папой, пока я сама не разберусь во всем этом.

И еще я думала о том, что Витя разговаривает сейчас с Леной Костиной, и, может быть, он уже выдал ей нашу тайну, хотя мы поклялись никому не рассказывать, для чего нам нужны реактивы.

— Ты меня тут подожди, — нерешительно сказал Коля, когда мы подошли к его двору. Очевидно, он не хотел, чтобы его увидели с девчонкой. — А если хочешь — пойдём к нам. Только тебе будет неинтересно.

— Нет, я подожду, — ответила я. — Только ты недолго.

— Я сейчас же, — обрадовался Коля и побежал во двор. Он действительно быстро вернулся, вынул из кармана и дал мне сжатую в комочек авоську, сплетенную из пластмассовых ниточек. Она у меня в руке распрямилась. Это и в самом деле была удивительно красивая авоська, выплетенная, как кружево, и тона были здорово подобраны — белые, голубые и зеленые ниточки незаметно сменяли друг друга. Я вообще никогда не предполагала, что авоськи делают вручную. А уж чтоб сплести такую штуку, нужно, наверное, очень много времени. И труда. Я спросила у Коли, как это делают. Он оглянулся и сказал:

— Пойдем. Это просто. Нужен только такой челночок из твердого дерева. У меня их несколько. Я тебе дам один и научу, как это надо плести.

Мы немного отошли, и Коля сказал:

— Она растягивается. На вид она маленькая, но в нее можно поместить портфель. Попробуй.

Мы положили в сеточку мой толстый, набитый книгами и тетрадями портфель.

— Давай я понесу, — сказал Коля.

— Нет, я сама.

И дальше я уже несла портфель в Колиной авоське. Чем ближе мы подходили к дому, тем

больше я замедляла шаги, и Коля это, очевидно, заметил, потому что спросил:

— Ты из-за двойки волнуешься?

— Да, — ответила я.

— А у тебя что — сразу дневник проверяют?

— Нет, — сказала я, — не в этом дело.

Я вдруг попросила Колю пойти со мной. Мне была непереносима мысль, что я сейчас одна, с глазу на глаз, встречу с папой.

— Хорошо, — сказал Коля не сразу. — Пошли.

Папа чуть приподнял брови, когда увидел, что я пришла не одна, но сейчас же сделал вид, что в этом нет ничего неожиданного.

Я его познакомила с Колей. Оба они держались чуть настороженно, и я вдруг заметила, что они похожи друг на друга. Они были одного роста, папа сегодня надел черный свитер, и на Коле был черный свитер, только похуже, не такой толстый, пушистый и новый. И штаны папа надел новые, узюсенькие, из немнущейся ткани, с острой складкой, а на Коле были темно-синие штаны от школьной формы, с пузырями на коленях и неглаженные. И даже звали их одинаково... Но главное, у них были очень похожие лица — круглые, добрые лица с одинаковым выражением: с почти незаметной, чуть смущенной улыбкой. Почему я раньше этого не замечала?

— Ну что ж, — сказал папа. — Рога трубят. Оседлаем же наших добрых коней и отправимся на званый обед в замок маркиза Карабаса. Я надеюсь, что вы, граф, окажете нам честь пообедать с нами?

Когда мы еще поднимались по лестнице, я заранее решила, что скажу папе, что у меня болит голова и поэтому я не пойду с ним на прогулку и в ресторан, но когда он стал шутить, я просто сказала:

— Я получила сегодня двойку. По физике.

Папа засвистел совсем по-мальчишески. У него было такое огорченное лицо, что Коля покраснел и устался в пол, сквозь который мне хотелось провалиться.

— Ну что ж, — сказал наконец папа. — Прогулку придется отменить... А обедать все равно нужно. Пойдемте.

Мне понравилось, что Коля не ломался, не отказывался, не говорил, что сыт, хотя после школы не ел и был голоден, как собака. Мне вообще нравится в людях, когда они умеют делать то, чего я не умею.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Витя пришел в школу, прихрамывая, со своей знаменитой тросточкой с надписью "Привет из Кисловодска", и я поняла, что предстоят какие-то важные события. Витя подозвал меня и Сережу и сказал, что мы должны собраться вместе после уроков, так как нашей компании объявлен террор. Я попыталась было выяснить, что за террор и кем объявлен, но Витя

многозначительно сказал: "После уроков".

На первом уроке у нас была химия, и мы пошли не в класс, а прямо в химический кабинет к Евгении Лаврентьевне.

Недавно у нас на уроке побывал бывший ученик Евгении Лаврентьевны, молодой, но очень толстый дяденька. Теперь он уже ученый и лауреат Ленинской премии. Он пришел до начала урока и познакомился с нами, и сел на свое место за вторым столом, где он когда-то сидел. А когда вошла Евгения Лаврентьевна, он встал вместе с нами. Он очень внимательно слушал все, что говорила Евгения Лаврентьевна, и все, что отвечали мы. А после урока он поцеловал Евгению Лаврентьевну руку, а она его поцеловала в голову, и он сказал нам, что Евгения Лаврентьевна сделала для украинской химии столько, сколько сделал целый институт, и что бывшие ее ученики работают на самых ответственных участках химической науки и химической промышленности, и что все мы должны учиться у нашей замечательной учительницы Евгении Лаврентьевны только на "пятерки", потому что химия — это наука будущего, а Евгения Лаврентьевна — человек будущего, который личным примером показывает, какими должны быть люди коммунистического общества.

Вообще-то я не понимаю, как можно плохо ответить на уроке у Евгении Лаврентьевны или как можно забыть то, что она говорила на предыдущих уроках. На уроках у Евгении Лаврентьевны ничего не нужно запоминать. Все, что она говорит, само запоминается.

Вот, например, ни один наш ученик уже до самой смерти не забудет, из чего делается стекло, потому что Евгения Лаврентьевна рассказывала, что до сих пор нельзя точно сказать, кто и когда изобрел стекло. Римский ученый Плиний-старший, который погиб в самом начале нашей эры при извержении Везувия, писал, что стекло открыли финикийские купцы-мореплаватели. Во время сильной бури они были вынуждены пристать к берегу. А так как на песчаном берегу они не нашли никаких камней для очага, чтобы сварить себе еду, то они взяли глыбы соды, которую везли на своем корабле для продажи. Целую ночь горел костер, а когда утром кто-то разгреб его, то в золе нашли прозрачные блестящие слитки, которые очень заинтересовали этих купцов. Так, в результате сплавления соды с песком, писал этот Плиний-старший, впервые получилось стекло.

Но в наше время ученые решили проверить, правильно ли написал Плиний. На песчаном морском берегу ученые сложили очаг из кусков соды и всю ночь жгли костер. Однако, когда утром его разгребли, то никакого стекла там не оказалось, потому что температуры, которую дает пламя костра, недостаточно для того, чтобы сода сплавилась с песком и превратилась в стекло. Я думаю, что после такого рассказа ни один нормальный человек не может забыть, что основой стекла служит песок и сода.

И все-таки бывают странные люди, которые и по химии получают двойки.

Сегодня на химии Коля сел за один стол со мной, Сережей и Витей, и хотя я подумала, что это уж чересчур, но ничего ему не сказала. Лучше бы он все-таки не пересаживался. Евгения Лаврентьевна вдруг заметила:

— Э, раз Галега пересел за первый стол, значит, он хорошо подготовился к уроку.

И вызвала Колю.

Я прежде думала, что второгодники должны учиться лучше обыкновенных учеников — ведь они все учат второй раз. Однако в самом деле это совсем не так. Из разговора с Колей я поняла, что второгоднику учиться еще труднее. Во-первых, потому, что ему неинтересно — он

ведь уже раз слышал то, что говорят учителя, и знает, что будет, наперед, а во-вторых, потому, что ему кажется, будто он уже знает урок, а фактически он не знал его в прошлом году и не выучил в этом.

Мне было очень неприятно смотреть на то, как Коля не мог ответить на самый простой вопрос, как он краснел, мычал и заикался, хотя в жизни он разговаривает нормально я совсем не заикается. Он бы значительно лучше сделал, если бы просто сказал: "Я не знаю", чем путаться на каждом слове. Коля еще не закончил отвечать, а Лена Костина уже подняла руку. Она всегда первой поднимает руку, если кто-нибудь неправильно отвечает и учитель говорит: "Кто хочет ответить?"

Я тоже так когда-то делала. Но очень давно, еще в четвертом классе. Папа тогда побывал в школе на родительском собрании, и учительница меня хвалила за активность. Но папа дома сказал, что из таких "активистов" вырастают бессердечные люди, которые радуются неудачам товарищей, потому что могут показать себя. И хотя мама говорила, что это глупые, антипедагогические выдумки и чтобы я всегда первой поднимала руку, я послушалась папу. Я начала отвечать только, когда меня вызывают, хоть иногда мне очень хотелось выскочить с ответом и приходилось себя подавлять. Теперь на примере Лены Костиной я понимаю, как прав был мой папа. Лена получила свою очередную пятерку, а Коля свою очередную двойку, и после этого Коля вернулся на место и снова сел рядом со мной. Он смотрел вниз, и выражение лица у него было странное, тупое, и ожесточенное.

Перед русской литературой Коля сказал мне — он научился так ловко бормотать себе под нос, что слышу я одна:

— Елизавета нас все-таки рассадит. Я не написал сочинения. А ты?

— Я написала, — ответила я довольно безрадостно. Елизавета Карловна задала нам написать сочинение "Тема патриотизма в стихотворении Лермонтова "Бородино". Мне не нравится это стихотворение. Я не понимаю, почему там написано "Чужие изорвать мундиры о русские штыки", когда это говорит простой солдат. Неужели он стал бы так запутанно выражаться? Или что значит: "Земля тряслась, как наши груди"? Но я не написала этого, потому что понимала, что за это Елизавета Карловна поставит мне двойку, а написала, что тема патриотизма видна в словах "Полковник наш рожден был хватом: слуга царю, отец солдатам", а также в словах "Не будь па то господня воля, не отдали б Москвы!" Кроме того, я написала, что во время Великой Отечественной войны Москвы не отдали, несмотря на "господню волю". Ну и закончила тем, что Лермонтов вообще великий русский поэт-патриот.

Но все это я напрасно сделала, потому что Елизавета Карловна все равно поставила мне двойку. Она сказала, что я невнимательно слушала на уроках и поэтому вообще неправильно поняла, что такое патриотизм, что из моего сочинения получается, будто бы у русских солдат, про которых писал Лермонтов, был один патриотизм, потому что они служили царю, а у советских солдат, которые защитили Москву от фашистов, был патриотизм совсем другой, хотя фактически это один и тот же патриотизм, и поэтому Лермонтов так созвучен нашему времени.

А Лена, Витя, Сережа и многие другие получили пятерки. Двойки на весь класс получили только два человека — я и Коля. Я за то, что написала, а он за то, что не написал сочинения.

— Я думала, — сказала Елизавета Карловна, поправляя свои круглые очки, — что ты будешь оказывать на Галегу положительное влияние. Но вижу, что ошиблась, и четверку вы можете заработать, только если сложите свои двойки.

Лена Костина засмеялась своим неестественным смехом. Елизавета Карловна помолчала, а затем добавила решительно:

— Придется вас рассадить. Галега, пересядь на свое старое место, на последнюю парту.

Коля встал и, придав лицу совершенно дурацкое выражение, спросил:

— А если я подтянусь?

Я его понимала. Такое можно было спросить только с самым дурацким, с шутовским выражением лица, хотя я знала, насколько это было теперь важно для него. Да и для меня.

— Ну что ж. Как только ты наберешь три четверки, можешь пересесть назад.

После уроков Коля подошел ко мне и сказал:

— Пойдем?..

— Нет, — ответила я. — Сегодня я не смогу...

Коля поежился, как от холода, и отошел от меня. Я заметила, он всегда так ежится, если ему стыдно или неприятно.

— Подожди, — сказала я, — мы должны тут сегодня... одну вещь... с ребятами... А завтра пойдем вместе.

— Хорошо, — сказал Коля и улыбнулся смущенно и обиженно. — Я ведь ничего... Может, тебе неловко перед ребятами, что я с тобой из школы хожу?..

— Нет, — сказала я строго, — мне очень ловко. До свидания. На меня с нетерпением оглядывались Витя и Сережа. Мы вышли на школьный двор. На лестничной площадке второго этажа к нам присоединился Женька Иванов. Когда мы зашли за угол школы — там у нас во дворе такой закоулок, где мальчишки младших классов сводят друг с другом счеты в честном кулачном бою и играют в "коцы", а девочки делятся самыми страшными секретами, — я заметила, что во двор вышла Лена Костина. Только к нам она не подошла, а поджидала Витю в сторонке. — Так вот, — сказал Витя, нервно постукивая своей палочкой по водосточной трубе, — докладываю обстановку. Когда я вчера шел с Ленкой к ее дому... — Витя помолчал и добавил, как бы перепрыгивая через препятствие, мне нужно было взять у нее одну книгу, на нас напали без всякого предупреждения ребята из Петькиной компании. Петька мне разбил губу. Вот. Витя оттянул нижнюю губу, и мы увидели на внутренней стороне припухлость и красные пятнышки. — А Лену они схватили и стали ей бросать за шиворот зернышки шиповника. Ну, от которых очень чешется. А Ленка укусила этого длинного Ваську — он ее держал — за палец. Васька завизжал и врезал ей левой под дыхало. Девчонке. В общем, Ленка заревела, а меня пока били, а я отбивался, И если бы не вмешались прохожие, то было бы совсем плохо... Этот длинный Васька сказал, что отвинтит Лене голову, когда она будет из школы возвращаться. А на меня они тоже имеют зуб. Так что нам надо ходить теперь всем вместе. Сначала мы будем провожать Ленку, чтобы они ее не тронули, а потом возвращаться к себе. И я предлагаю, чтобы Лена теперь тоже входила в нашу компанию и участвовала в катализаторе. Хотя она и зубрила, но химию любит. Какие будут возражения?

У меня были возражения. Думаю, что возражения были также у Сережи и даже у Женьки. Но все мы молчали. Это очень трудное дело высказать возражения, когда речь идет о живом человеке. Наконец Сережа сказал:

— Она девчонка... Растреплется...

— А Оля, по-твоему, не девчонка? — быстро спросил Витя. Он всегда умеет сразу находить ответ.

— Оля-то, конечно, девчонка, — с сомнением сказал Сережа. — Но это другое дело.

— Это не доказательство, — сказал Витя. — Других возражений нет? Лена, давай сюда.

Он помахал ей рукой, и Лена подошла к нам. Ее беспокоило, как мы ее примем, и поэтому она заранее сделала гордое и безразличное лицо. Я понимаю, человек должен бороться со злорадными чувствами, какие возникают в его душе, но я бы многое дала, чтобы посмотреть на эту выдержанную, приличную, благоразумную Лену, когда ей мальчишки бросали за шиворот шиповник, — а я-то хорошо знаю, как зудит и чешется тело от тоненьких белых волосков, которыми окружены семена, — и как она укусила этого Васю за палец.

— Ну, Лена, — сказал Витя, — мы тебя принимаем в нашу компанию. Теперь мы тебе расскажем наш секрет, но ты должна дать слово, что никому его не выдашь: ни знакомым, ни родителям, ни учителям — никому.

— Честное пионерское, — сказала Лена.

— Хорошо, — сказал Витя. — Знаешь ли ты, что такое катализ?

Но тут вмешался Женька.

— Я так не согласен, — сказал он, и на глазах у него показались слезы. — Почему я клялся Родиной, а она только — честное пионерское?..

— Это справедливо, — поддержал его Сережа. — Пусть тоже клянется Родиной.

— Ну что ж, — неохотно согласился Витя. — Пусть поклянется.

— А как это — Родиной? — испуганно спросила Лена.

— Очень просто, — ответил Витя. — Повторяй за мной: именем Родины клянусь, что никогда и никому не раскрою тайны про нашу научную работу, и если я нарушу это слово, пусть меня все презирают, и любой член нашей компании имеет право дать мне по морде.

— Именем Родины клянусь... — повторяла за ним Лена.

— А ты не разговариваешь во сне? — недоверчиво спросил у Лены Женька Иванов.

— Как это — во сне? — удивилась Лена.

— Бывают люди, — с важностью сказал Женька, — которые ночью во сне рассказывают все, что с ними происходило днем. Вот я, например, прежде разговаривал во сне. И чтобы не выдать нашу тайну, перед сном клал в рот "Кис-кис" или "Театральную", но не рассасывал ее, а просто держал во рту. Я из-за этого раз чуть не подавился.

— Я не знаю, — окончательно растерялась Лена. — По-моему, я никогда не разговаривала во сне. Только когда болела гриппом и у меня был бред. Но я спрошу у мамы...

— Ладно, — сказал Витя, — мы тебе доверяем. А пока что мы тебя введем в курс дела.

И Витя начал рассказывать о химии высокомолекулярных соединений, через каждое слово спрашивая у Лены: "Понятно?" — а она в ответ кивала головой.

Я никогда не думала, что отличница Лена Костина так слабо разбирается в химии и так туго соображает. Она кивала головой и ничего не понимала. Женька Иванов разобрался в этом в тысячу раз лучше, чем она.

Чем больше горячился Витя, чем больше щеголял Женька химическими названиями, тем более скучным становилось Ленине лицо. Нет, она не разобралась в химии, и мечта о том, что можно будет сделать из полимерных пленок искусственную мышцу, ее, по-видимому, не увлекала. Но кое в чем она разобралась и поэтому сумела поставить всех нас в неловкое положение своим вопросом.

— А почему все это такая тайна? — спросила она вдруг.

— Так ведь если мы найдем катализатор, это будет иметь военное значение, — сказал Витя. — Я ведь тебе говорил...

— Если найдете, — возразила Лена, и в ее голосе выразилось большое сомнение. — Но то, что вы занимаетесь этими химическими опытами, по-моему, скрывать совсем не нужно. И тем более делать из этого секрет и тайну...

— Нет, нужно! — вмешался Сережа. — Мы так договорились — и кончено. А тебе, если не нравится, можешь отправиться...

Сережа страшно разозлился, покраснел, и у него на лбу, над носом вздулась такая синяя жилка, — она всегда у него вздувается, когда его обижают.

Мне это тоже было неприятно, хотя я понимала, что в словах Лены много справедливого.

— Но ведь ты поклялась Родиной, — с упреком сказал Витя.

— Я сдержу данное слово, — ответила Лена. — Только я не понимаю, к чему это... А реактивов у нас дома никаких особенных нет. Есть только маленькая бутылочка живого серебра от прибора, которым мама измеряет больным давление, и разные лекарства. Их можно считать реактивами?

— Вообще-то можно, — нерешительно ответил Витя. — А ртуть нам пригодится. У нас есть немного ртути... Женька для этого специально разбил термометр и сказал дома, что нечаянно, но она уже кончается.

— Я разбил два термометра, — поднимаясь на носки, чтобы быть выше, сказал Женька. От него вкусно пахло хлебом с маслом.

Мы проводили Лену до самого ее дома и постояли еще немного в ее парадном. Витя со своей палочкой показывал разные выпады и приемы, какие применяют мастера рапиры, и говорил что д'Артаньян не справился бы с современным мастером спорта, потому что с тех времен искусство сражения на шпагах шагнуло далеко вперед. Лена рассказывала, что у нее сегодня дома еще будет урок английского, что она уже прочла по-английски "Принц и нищий" Марка Твена и что когда она была с мамой на американской выставке, то экскурсовод спрашивал, не из Англии ли эта девочка — такое хорошее у нее произношение. Даже Сережа, обычно совершенно несклонный к хвастовству, рассказал, что ездил в воскресенье с отцом на рыбную ловлю и поймал на дорожку щуку весом в девять с половиной килограммов. Я тоже не

удержалась и сказала, что папа собирается купить мотороллер и учить меня водить его, хотя папа никакого мотороллера не собирался покупать и, напротив, считал, что те, кто ездит на мотороллере, являются "полуфабрикатом для крематория".

Я до сих пор не понимаю, почему мы так "выпендривались" друг перед другом. Очевидно, это заразно. Начнет один, а остальные тоже не могут удержаться.

В общем, мы довольно долго простояли в парадном у Лены, а потом пошли домой. Витя забыл, что ему нужно прихрамывать, и шел ровно и нес свою тросточку в руке, как шпагу, но на нас никто не нападал. А когда мы уже подходили к дому, я оглянулась и заметила, что за нами идет Коля. Он сейчас же скрылся за спинами прохожих. По-видимому, он все время шел за нами. По-видимому, ребята заметили его еще раньше. По-видимому, они его видели, но ничего не сказали.

Я подумала, что это нехорошо и что с Колей нужно что-то решать. Нужно сделать так, чтобы он ходил с нашей компанией. Чтобы он лучше учился. И чтобы я лучше училась. Но как все это сделать?

Я представила себе, как мы подходим к нашему дому и идем через подъезд во двор, и в это время выскакивает целая ватага мальчишек во главе с Петькой из соседнего дома, они нас окружают, и вот уже меня хватают чьи-то руки, и какой-то мальчишка сыплет мне за шиворот зернышки шиповника. В это время неизвестно откуда появляется Коля и своими сильными руками, которые он развил, делая зарядку с кирпичами, расшвыривает мальчишек, дает под дыхало Петьке, который вырвал из рук у Вити его тросточку-шпагу, и мы обращаем в позорное бегство всю эту ватагу. После этого Витя пожимает Коле руку и говорит, что просит его от нашего имени войти в нашу компанию и принять участие в поисках катализатора.

Я знаю, что некоторые мечты сбываются, но я никогда не думала, что такие глупые мечты сбудутся так скоро.

Только мы подошли к нашему двору, как из-за газетного киоска выскочили Петька и еще двое таких же здоровых мальчишек, и Петька выхватил у Вити его тросточку и поломал ее на колене, а другой парень дал Сереже подножку, и он растянулся на земле, а Женька отскочил в сторону и закричал: "Папа!" — но это он для того, чтобы испугать этих ребят, потому что никакого папы поблизости не было, — а я все оглядывалась назад, чтобы увидеть Колю, но его не было видно. И тот мальчишка, который свалил Сережу, закрутил Вите руку за спину, а Петька схватил меня за руку, а третий мальчик, по-моему какой-то новый, потому что мы его раньше не видели, стал сыпать мне за шиворот зерна шиповника.

Я снова оглянулась, но Коли не было. И тогда я применила против Петьки прием, которому меня научил папа: я резко наклонилась, ухватила его руками сзади под коленки, а головой ударила в живот, и он смешно шлепнулся на тротуар и здорово треснул и хотел меня лягнуть ногой, но я отскочила и дала портфелем по морде этому новому мальчику, который мне сыпал за шиворот шиповник.

А Сережа и Витя вдвоем напали на третьего мальчика. Но тут вмешались прохожие и стали кричать на меня: "Хулиганка!" — и мы убежали домой.

Когда мы отдышались, Витя стал говорить, что если бы Петька не вырвал у него из рук тросточку, то он бы ему показал, и что я молодец, потому что не растерялась, а я сказала, что надо, чтобы с нами вместе из школы ходил Коля, и все согласились, что это не помешает.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Кого ты больше любишь: папу или маму?

Детям постоянно задают этот нелепый и бестактный вопрос. Если бы у взрослого спросили: "Кого ты больше любишь: жену или мать?" — и он должен был бы ответить прямо и честно, взрослый очень задумался бы перед тем, как задавать ребенку такой вопрос. И все-таки, когда я знакомлюсь с новой подругой или новым товарищем и бываю у них дома, я часто задумываюсь, а кого он или она любит больше: мать или отца, хотя никогда, понятно, об этом не спрашиваю.

Я побывала дома у Коли. Они живут во дворе на первом этаже, в старом двухэтажном доме. Квартира у них плохая. Дверь с улицы ведет прямо в кухню, а передней нет, а уже из кухни вход в комнату. В этой комнате еще одна дверь. Коля сказал, что там маленькая клетушка, где он спит, что там нет окна и освещается она электричеством.

— Здравствуй, Оля, — сказал мне Колин отец, Богдан Осипович. — Садись к столу, пообедаешь с нами. Покажи, где помыть руки, — сказал он Коле. — Или ты, как Колька, не моешь рук перед едой?

— Как когда, — сказала я по правде и почувствовала, что мой ответ понравился Богдану Осиповичу.

Колина мама, которую, как и мою, зовут Елена, только по отчеству Евдокимовна, толстая женщина с очень белым лицом и шероховатыми руками, неожиданно обняла меня и прижала к себе. Смотрела она на меня при этом как-то особенно жалостливо. Я не люблю, когда меня обнимают чужие люди, но я не отодвинула ее руки, а подождала, пока она сама меня отпустит.

На обед был очень вкусный борщ, а потом еще на второе огромные, во всю тарелку, свиные отбивные, с гречневой кашей.

— Так чем занимается твой отец? — спросил у меня Богдан Осипович так, словно продолжал уже начатый разговор,

— Журналист. Он в газете работает.

— А как его зовут?

— Николай Иванович.

— Николай Алексеев? — сказал Колин папа и очень обрадовался. — Как же, знаю. Помнишь, Лена, — обратился он к жене, — я тебе еще его фельетон показывал. Замечательный фельетон. Он там так по начальнику железной дороги врезал, что, я думал, с работы снимут... начальника этого. Здорово пишет.

Мне было очень приятно, что он помнит статьи моего папы, и вообще очень приятно в этом доме, и только немножко смущало, что Колина мама все время смотрела на меня с жалостью, подперев щеку правой рукой и поддерживая локоть левой рукой, и все время повторяла:

— Ешь, деточка, какая ты худенькая.

А я ела и наелась так, что когда незаметно пощупала рукой живот, мне показалось, что он натянута, как барабан.

На третье Колина мама принесла компот из слив и груш и очень вкусное малиновое варенье, которое, собственно, не варенье, а просто сырая малина, перемятая с сахаром. Мне положили чайное блюдце этой малины, и только я ею всерьез занялась, как показался знакомый. Неизвестно откуда появился и подошел к столу тот самый кот, которого Витя хотел перекрасить в черный цвет. Но теперь он снова был совсем белый.

— Это ваш кот? — спросила я у Коли.

— Наш.

— Он, по-моему, был на нашем дворе.

— Вот, значит, где он пропадал, — сказал Колин папа. — Кто-то его тушью облил.

— А он не слепой? — спросила я. — У нас один мальчик говорил, что белые коты с голубыми глазами обязательно бывают слепыми. Он говорил, что читал про это в какой-то научной книге.

— Этот мальчик перепутал, — сказал Богдан

Осипович. — Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Не слепыми, а глухими бывают коты с голубыми глазами и белой масти.

— И ваш кот глухой?

— Глухой.

— А как вы это установили?

— Да очень просто — он ничего не слышит.

— И мышей он не может ловить?

— Нет, мышей он ловит, — вступился за кота Коля. — И не хуже, чем всякий другой.

— Он когда пропал, так жена все беспокоилась, что не вернется, — сказал Колин папа. — А я ей говорил — обязательно вернется. Кошки привыкают к месту, а собаки к людям. А вот уж люди по-разному: некоторые, как кошки, а некоторые, как собаки. А ты кто, кошка или собака? — спросил он у меня.

— Не знаю, — ответила я. — Скорее собака, но немножко и кошка.

Колин отец как-то очень по-доброму посмеялся.

— Так как же это теперь называется, — подмигнул он мне на Колю, — на буксир, что ли?

Я не поняла его.

— Ну, это в мое время, когда отличник помогал отстающему, называлось "брат на буксир", — пояснил Колин отец.

— Нет, — сказала я. — Я не отличница. У меня есть тройки и даже двойки. Мы просто будем готовить вместе некоторые уроки. Особенно по химии.

— Хорошо, — сказал Богдан Осипович. — Не оставаться же ему на третий год. Восемь классов нужно закончить. А там — на работу. Придет время, сам поймет, что нужно учиться. Выберет специальность и — заочно. А ты кем собираешься быть, когда школу закончишь? — спросил он у меня.

— Химиком. Думаю поступить в университет на химическое отделение.

— Химический факультет, — поправил он меня. — А не раздумаешь?

— Нет.

Елена Евдокимовна глубоко, со всхлипом вздохнула, как вздыхают маленькие дети, и вдруг сказала:

— Значит, ты поможешь Коленке? Ты не смотри, что он большой... Ты помоги ему...

Она тяжело задышала, а Коля, не обращая на нее никакого внимания, спросил у меня громко:

— Ты сколько раз можешь поджаться?

— Как поджаться?

— Ну, на руках.

— Не знаю. Я не пробовала.

— Пойдем попробуем.

Коля встал из-за стола и, несмотря на то, что я еще пила компот, взял меня за руку и потащил к двери. Мы вышли во двор. Возле сарайчика был врыт в землю столб, а между стенкой сарайчика и столбом укреплена железная палка турник.

— Я тебя подсажу, — сказал Коля. — Прыгай вверх.

Я подпрыгнула, а он меня поддержал и приподнял. Я уцепилась руками за шероховатую железную палку и повисла на ней.

— Подтягивайся, — сказал Коля.

Может быть, в другое время я бы и подтянулась, но борщ, отбивная и гречневая каша неодолимо тянули меня вниз, к земле.

— Эх ты! — сказал Коля. — Слазь. А теперь считай.

Он подпрыгнул, ухватился за турник и стал поджиматься. Я насчитала десять раз.

— А теперь смотри.

Коля забрался на турник и перевернулся на животе через перекладину.

— Тренироваться нужно.

— Нужно, — согласилась я. — Но, может быть, мы все-таки сядем за уроки? А то мы так ничего не успеем.

— Скоро сядем, — ответил Коля. — Подождем еще немного. — Он посмотрел на землю и добавил: — Пусть матя немного успокоится.

— А что с ней?

— Больная она. У нее горло перехватывает.

И Коля рассказал мне, что его мама очень больной человек: как только увидит что-нибудь хорошее в кино, в газете или в жизни, так у нее сразу перехватывает горло, и она задыхается так, что приходится иногда вызывать "скорую помощь", чтоб сделали укол.

— А ты не слышала про мою матю, про медсестру Елену Лукашенко? спросил Коля. — Ведь про нее в газетах писали и в журналах.

— Нет, — сказала я.

Коля рассказал, что отца его мамы, то есть Колиного деда, на глазах Колиной мамы расстреляли немцы за то, что он прятал у себя в хате раненого советского офицера. Колина мама убежала к партизанам, а потом, когда подошли наши войска, вступила в армию, стала медсестрой и вынесла с поля боя семьдесят восемь раненых. Она была тогда маленькая, худенькая и все равно тащила на себе тяжелых, рослых солдат. Некоторые из тех, кого она вытащила из-под огня, до сих пор переписываются с ней. Но с тех пор у нее такая болезнь. Достаточно ей увидеть или услышать что-нибудь приятное, как у нее сдавливает горло и словно перенимает дыхание. Даже от ласкового слова. Коля говорил, что старается даже разговаривать с ней поглубже, а поцеловал он ее как-то раз, когда она спала, так она проснулась, и опять ей плохо было.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— В те далекие времена, когда поезда ходили туда, куда хотели машинисты, одна маленькая девочка с такими же веснушками, как у тебя, и с такими же золотыми косичками, которые неграмотные дети называют рыжими, узнала, что у нее заболела бабушка.

Жила ее бабушка в далеком городе, где хорошие люди с опаской выходили из своих домов, потому что в этом городе было очень много садов, а в садах этих сидели садисты, злые и безжалостные разбойники, которым очень нравилось расстреливать людей из своих винтовок.

А болезнь у бабушки была очень опасная. Как только увидит бабушка что-нибудь хорошее — красивый цветок, или желтого воробышка, или девочку, которая отдала подружке ровно половину шоколадки, — так она сразу начинает плакать и так сильно плачет, что у нее вместо слез течет кровь и врачам приходится делать ей переливание крови, чтобы она не умерла. А плакала бабушка так потому, что в этом городе садисты сделали очень много плохого, и к плохому бабушка уже давно привыкла, а хорошее ее очень волновало.

И вот маленькая девочка пошла на вокзал, подошла к паро возу, который уже шевелил колесами и тяжело дышал, собираясь в путь, и закричала машинисту:

"Товарищ машинист, отвезите меня, пожалуйста, к моей бабушке".

Машинист спросил:

"А для чего тебе к бабушке?"

Девочка сказала:

"Я хочу отвезти ей лекарство, которое мне дали в дежурной аптеке, потому что моя бабушка больна".

Тогда машинист сказал:

"Вообще-то я собирался поехать на рыбную ловлю, но так как человек человеку друг, товарищ и брат, то поедем сначала наловим рыбы, а потом поедем к бабушке".

"Нет, — сказала девочка, — никогда не нужно откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня. Если это, конечно, хорошее дело. А если это плохое дело, то лучше его отложить на завтра".

"Хорошо, — сказал машинист, — тогда поедем к твоей бабушке, а уж мой белый кот с голубыми глазами обойдется сегодня без рыбы".

Машинист подал девочке руку, она села рядом с ним на сиденье, и поезд помчался по блестящим, начищенным, как паркет, рельсам.

"Как же ты передашь лекарство бабушке? — спросил машинист. — Ведь это хороший поступок, а бабушка от такого поступка может так сильно заплакать, что умрет".

"Действительно, — испугалась девочка, — как же мне быть?"

Наташка слушала меня с открытым ртом. Я уже в два раза старше Наташки. Наташка в этом году только поступила в первый класс. Она младшая сестра Сережи, и я люблю ей рассказывать сказки. Вообще я люблю возиться с детьми, мне с ними никогда не бывает скучно.

Наташка внимательно слушала мою сказку. Мы сидели на скамейке в садике возле нашего дома, а говорила я тихо, вполголоса, потому что на другом конце скамейки сидел очень худой и очень остроносый человек с большими очками в толстой оправе, который читал газету, как бы покалывая ее носом. На нем была модная куртка, сшитая, как ватник, но с "молниями", и огромные тяжелые ботинки с железными подковами, и вообще вид у него был очень чудаковатый, и хотя он не смотрел в нашу сторону, мне почему-то казалось, что он не читает, а слушает то, что я говорю, и это меня смущало, и я хотела сказать Наташке: "Пойдем на другую скамейку", но мне было неудобно, потому что он мог подумать, что я думаю, что он слушает мою сказку.

— "Нужно что-нибудь придумать", — сказал машинист, — продолжала я. — И они стали молча думать.

И вдруг девочка сказала: "Я придумала".

— Как ты думаешь? Что она придумала? — спросила я у Наташки.

— Я знаю, — сказала Наташка, — нужно дать лекарство так, чтобы бабушка не заметила. Когда я была маленькой, мне тоже давали лекарство от кашля и говорили, что это — компот.

— Правильно, — сказала я. — То же самое, что ты, придумала девочка. И машинист так обрадовался этому ценному предложению, что дал громкий гудок. Вот такой.

Тут я сложила руки по нашему способу и загудела, как паровоз.

— А дальше? — спросила Наташка.

Когда я гудела, этот человек в стеганой куртке совсем оставил газету и смотрел на меня очень внимательно и странно, и мне расхотелось рассказывать.

— Дальше я еще не дочитала, — ответила я. — Я сегодня дочитаю эту книжку и завтра тебе обязательно доскажу.

— А в какой книжке это напечатано? — спросил у меня человек в стеганой куртке высоким, совсем не мужским голосом.

Вообще-то я не люблю лгать, но у меня не было выхода.

— У нас дома есть такая книжка, — ответила я. — Только я не помню названия.

— А кто автор?

— Автора я тоже не помню. Мы с Наташкой встали со скамейки, и человек в стеганой куртке тоже встал, снял очки и нерешительно сказал мне:

— Послушай, девочка... Я вообще не умею разговаривать с детьми. Но все-таки давай немного походим по садику и побеседуем.

— Не ходи! — вдруг уцепилась за мою руку Наташка. — Может быть, этот дядя — садист.

Дядя, странно всхлипывая, засмеялся, а я покраснела и сказала Наташке, чтобы она не говорила глупостей.

— Все равно я пойду с тобой, — сказала Наташка, не выпуская моей руки.

Дядя сказал Наташке: "Молодец, так и нужно!" — и попытался погладить ее по голове, но Наташка отклонилась, и мы втроем пошли по садику.

Некоторое время мы шли молча, а затем дядя приостановился и сказал:

— Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Павел Романович. А фамилия моя Корнилов. Я писатель.

— Писатель? — сказала я. — А Алексеева вы знаете?

— Алексеева? Нет, не припоминаю. А кто он такой?

— Николай Иванович Алексеев. Он фельетоны пишет в газету и статьи.

— Нет, не знаю. Не читал, — сказал, как отрезал, дяденька. Я подумала, что он, наверное, плохой писатель, если не знает статей моего папы, которые все читали и которые всем нравятся, и мне даже расхотелось с ним разговаривать, но я все-таки спросила, где он живет, а он ответил, что в Москве. Тогда я спросила, бывал ли он прежде в Киеве, а он ответил, что был только до войны, и тогда я стала рассказывать, что с тех пор Киев очень переменялся, что во время войны в Киеве было разрушено очень много процентов жилой площади, что город построен заново и что сейчас это город-сад.

Павел Романович слушал все эти вежливые разговоры с грустным и внимательным лицом, а потом спросил:

— А какого писателя ты больше всего любишь?

— Шевченко, — ответила я сразу.

— Тараса Шевченко? — удивился писатель. — Больше Пушкина, больше Лермонтова?

— Да, — сказала я. — Больше. Хотя, конечно, и Пушкина, и Лермонтова я тоже очень люблю.

— А почему, — спросил писатель, — ты любишь Шевченко больше всех?

Мне было очень трудно рассказать об этом. Вообще я не знаю, можно ли объяснить это, но все-таки я сказала:

— Потому что Шевченко самый храбрый поэт. Он ничего не боялся. Он всегда писал то, что думал. Я знаю много стихов из "Кобзаря" наизусть.

— А сама ты не писала стихов про Тараса Шевченко?

Я ответила, что писала, затем немного поломалась, совсем немного, и прочла стихотворение о Шевченко, которое я написала этим летом:

Он прятал от тюремщиков
В голенище не нож, а стих.
Радоваться нечему,
Но это — его стиль.
Не самолюбие автора,
А чистая вера в то,
Что можно приблизить завтра
Залпом своих стихов.
Эта вера рождала
Песню в зашитых ртах.
Буду об этом помнить
И буду писать — так.

Павел Романович сказал, что это очень хорошие стихи, хотя технически они еще несовершенно, что во всем стихотворении строчки рифмуются, а в последней строфе "рождала" и "помнить" без рифмы, и попросил, чтобы я прочла еще какие-нибудь стихи.

То ли потому, что до сих пор никто не относился серьезно к моим стихам, то ли потому, что Павел Романович был писателем, а я еще никогда в жизни с писателем не разговаривала, я читала одно стихотворение за другим, а он больше не делал никаких замечаний и только кивал головой и говорил: "Еще". Так я читала стихи очень долго, пока Наташка не сказала, что она уже хочет домой, и я тоже сказала, что мне надо домой, потому что я не сделала уроков.

Павел Романович спросил, кем я собираюсь быть, когда вырасту, и я ответила, что химиком.

Павел Романович сказал, что это очень хорошо, но что у меня будет еще время передумать, и спросил, не могу ли я дать ему на несколько дней тетрадку со своими стихами.

И тут я сделала большую бестактность. Вместо того чтобы пригласить писателя к себе домой, я

сказала, что сейчас вынесу свою тетрадку.

Он это понял, но не подал виду и сказал:

— Мне за твои хорошие стихи и за твою хорошую сказку хочется сделать тебе подарок. Вот — возьми.

И он вынул из кармана и дал мне прекрасную самопишущую ручку зеленого цвета с прожилками и с золотым колпачком.

— Только прежде я запишу тебе свой адрес и свою фамилию, чтобы ты ее лучше запомнила и могла мне ответить на письмо, которое я тебе напишу.

Он вынул блокнот, взял у меня ручку, написал на листке свой адрес, телефон, фамилию, имя и отчество, а затем вернул мне этот листок и ручку и сказал, что подождет, пока я вынесу тетрадку.

Ручка мне так понравилась, что я даже забыла поблагодарить писателя за подарок и сделала это только тогда, когда уже вернулась с тетрадкой.

Писатель спросил, нет ли у меня второго экземпляра, и сказал, что стихи обязательно нужно записывать в двух экземплярах, что тетрадку мою он мне скоро вернет, и я с ним еще долго разговаривала о поэзии. И мне не хотелось уходить, но он сказал, что мы еще встретимся, что мне пора за уроки. И когда я пришла домой, мама у меня спросила, почему я такая красная и возбужденная, а я сказала, что так, ничего, и села за физику.

Вечером, когда папа вернулся из редакции, я сказала ему, что познакомилась у нас в садике с каким-то человеком, по фамилии Корнилов и по имени Павел Романович, который называет себя писателем и подарил мне авторучку, но который не знает папу.

— Откуда же ему меня знать? — смущенно сказал папа. — Это очень большой писатель.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Можно повеситься — Коля опять получил двойку! По химии. Он забавный. Это у нас в школе говорят: забавный. Витя когда-то объяснил мне происхождение этого слова. Это когда в боксе кого-нибудь сильно стукнут, особенно в голову, и он наполовину теряет сознание и идет не в том направлении, куда ему нужно, то о нем спортсмены говорят: забавный.

Мы вместе учили химию. Дома он все знал, но как только вышел к доске, он стал путаться и говорить такую чепуху, что весь класс смеялся, и даже Евгения Лаврентьевна улыбалась, а Сережа, чтоб было еще смешней, нарочно неправильно подсказал вместо окиси ртути — окись магния, и у Коли не получался вес в кислородных единицах, а выходила какая-то бессмыслица. За такие подсказки надо бить морду.

Я в этот день, как назло, получила три пятерки: по химии, по английскому и по истории. И когда Коля подошел ко мне после уроков, я почувствовала себя перед ним как будто виноватой: ведь учили мы вместе, и знал он не хуже меня, и все-таки у него ничего не получалось.

— Останься в классе, — сказал Коля. — Поговорить нужно.

Я вышла со всеми, но уже внизу, в вестибюле, сказала ребятам, что не пойду с ними, потому что мне... тут я пробормотала: "Нужно еще по одному делу" — и вернулась в класс.

Мы сели рядом за нашу парту, на которой я теперь сидела одна.

— Больше я не пойду в школу, — сказал Коля. — Пошли они все к черту!.. Ни к чему мне эта ваша школа, и эта ваша химия, и эта ваша история, и эта ваша литература... И вообще я во всем разочаровался.

— Как — разочаровался? В чем?

— Во всем. Я не вижу, куда приложить свои силы, и мне ничего не интересно...

Мне очень не нравилось то, что говорил Коля. Очень не нравилось. Но я не знала, как его переубедить.

— Ты неправ, — сказала я наконец. — У тебя плохое настроение, потому что ты не сумел ответить по химии. Хотя и знал не меньше, чем на четверку.

— Нет, — сказал Коля, — химия тут ни при чем... Все-таки ему было очень плохо. И чем ему помочь, я не знала.

— Но ведь ты все знал, — сказала я Коле. — Ты просто боишься учителей.

— Я ничего не боюсь, — покраснел Коля. — Смотри! — Он распахнул окно, и не успела я сообразить, что он собирается делать, как он вскочил на подоконник и выбрался на карниз — узкую кирпичную полосу, проходящую за окном.

— Вернись сейчас же обратно! — закричала я. Другую девочку, может, и восхитил бы Колин поступок, но меня он только обозлил. Я так закричала, что Коля сразу вернулся. — Это не храбрость, — сказала я. — Это чепуха. А вот когда тебя вызывают к доске, в тебе всегда появляется какая-то робость. И ты должен с ней покончить.

— При чем тут робость? — с досадой сказал Коля. — И при чем тут учителя? У меня просто нет цели в жизни. Мне никем не хочется быть. Батя, например, хочет поступить заочно в педагогический институт и учить историю, а мне не интересна ни история, ни география, ни ваша химия.

Я смотрела на Колю с жалостью и интересом. Это был первый человек за всю мою жизнь, которому никем не хотелось быть. Конечно, он внешне был очень мало похож на Печорина, но, как Печорин, он был лишним человеком в нашем обществе и тоже во всем разочаровался.

— А как же будет с цирком? — спросила я.

— Что ж, в цирк, конечно, пойдем, — обреченно ответил Коля.

Билеты в цирк нам купил Богдан Осипович. Мне хотелось пойти в цирк, потому что я была в нем только раз за всю жизнь, и то в раннем детстве. Мои родители, вернее, моя мама, не любят цирка, и поэтому мы в него никогда не ходили. И тут моя мама тоже стала говорить, что это неудобно, чтобы я ходила в цирк с каким-то мальчиком, что я еще маленькая, но папа предложил составить точный список, в каком бы указывалось, для чего я маленькая, а для чего большая, и мама, как она сама выразилась, "скрепя сердце" — когда я была меньше, я думала, что говорят "скрипя сердцем", — разрешила мне пойти в цирк.

После школы я не стала заниматься с Колей, а направилась к Вите, где наши ребята сегодня собирались приготовить из чернильного прибора — бывают такие чернильные приборы из прозрачной пластмассы — полиметилметакрилат очень ценное для наших опытов химическое вещество. Для этого нужно было построить специальную установку с холодильником и конденсатором готового продукта. В холодильнике я предложила использовать сухой лед, который всегда остается у мороженщицы в нашем гастрономе, и Витя сказал, что это ценное рационализаторское предложение.

У Вити я застала только Лену Костину, — впечатление было такое, словно она даже не заходила домой, а прямо пошла к Вите. Они о чем-то очень горячо разговаривали, может быть, даже обо мне, потому что, когда я вошла, сразу замолчали. Но мне это было безразлично.

Витя сказал, что Сережа и Женька Иванов отправились в экспедицию за сухим льдом, а он пока приготовит сырье. После этого он взял щипцы и молоток и стал разбивать на куски чернильный прибор, который мне было немножко жалко, потому что мы заплатили за него два рубля тридцать пять копеек, а с деньгами у нас по-прежнему было довольно туго. Кроме того, прибор этот был прозрачным, красивым и новеньким.

Пока Витя ломал чернильный прибор, Лена негромко у меня спросила: — Ты занимаешься со своим Колей?

— Он такой же мой, как твой, — ответила я.

— Это неважно, — сказала Лена. — Я хотела тебе посоветовать... Вот вы зовете меня зубрилой — я знаю, я и в самом деле немножко зубрила. А почему? Потому что я в младших классах очень боялась отвечать у доски и все вызубривала. Теперь я уже не зубрю. Но Галеге для начала нужно просто зубрить уроки на память, как стихи.

Я заметила, что Витя прислушивается к нашему разговору, задрала нос и ответила, что мы обойдемся без зубрежки, но подумала, что Лена, может быть, не такой уж нечуткий человек, как мне это казалось...

В Витину дверь кто-то отчаянно зазвонил: надавил кнопку и держал до тех пор, пока не открыли. Мы все бросились в переднюю. За дверью стояли Сережа и Женька. Вид у них был испуганный, смущенный и довольный. Они достали сухого льда. Они напрямик объяснили нашей мороженщице, для чего им нужен этот сухой лед, и хотя мороженщица сказала, что химические опыты лучше делать с чистым мороженым, она им дала бесплатно несколько кусков сухого льда.

И вот когда они вошли в Витино парадное и поднялись на второй этаж, они увидели, что уборщица поставила на площадке ведро с водой и моет в парадном окна и подоконники. Сережа тут же бросил в ведро кусок сухого льда, а затем они поднялись вверх и стали наблюдать, что произойдет дальше. Когда уборщица увидела, что в ее ведре вода бурлит, как кипяток, и из воды поднимаются клубы белого пара, она страшно испугалась и стала кричать: "Ой, лишенько, вода загорілася!" На ее крики из соседней квартиры выскочила какая-то старушка и стала говорить, что это, очевидно, не вода, а бензин и что нужно вызвать пожарных. Но мимо проходил какой-то дяденька, который засучил рукав, достал из ведра оставшийся там еще кусок сухого льда и объяснил женщинам, что сухой лед — это замороженный аммиак, который переходит прямо из твердого состояния в газообразное, и что сухой лед в ведро, очевидно, подбросили дети. Уборщица вспомнила, что тут проходило два "шибеника" — по-украински это слово звучит не обидно и даже ласково, а по-русски грубо: шибеник — это висельник.

Они не успели закончить своего рассказа, как в дверь снова позвонили.

— Прячьтесь, — сказал Витя и пошел открывать.

Это была уборщица и еще какая-то пожилая женщина, очевидно, соседка. Уборщица спросила:

— К вам не забегали два таких хлопчика — побольше и маленький?

Витя ответил, что никто не забегал. Тогда уборщица потребовала:

— А скажи: пионерское слово.

Витя дал пионерское слово, и тут уборщица закричала:

— Так, значит, ты и на пионерское слово брешь! А я же знаю, что они у тебя прячутся!..

Совершенно непонятно, зачем она требовала, чтобы он дал честное пионерское. Но взрослые часто так поступают: заведомо зная, что кто-нибудь лжет, требуют у него слова, что он говорит правду.

На весь этот шум вышла Витина бабушка. Она поговорила с уборщицей, сказала Сереже и Женьке, что им незачем прятаться, и поговорила еще с ними, и все это так спокойно, что уборщица стала улыбаться, и мы тоже стали улыбаться. Она всех заражает своим спокойствием. Я думаю, это очень важно для государства, чтобы в нем были такие спокойные люди. Если бы их было побольше, то, наверное, никто бы ни с кем не ссорился и не было бы всяких преступлений.

Тем временем мы приготовили прибор для перегонки осколков чернильного прибора в полиметилметакрилат. Для этого мы соединили колбу из жаростойкого стекла с холодильником, который приготовили из коробки из-под ботинок. В эту коробку мы сложили сухой лед. Холодильник стеклянной трубкой мы связали с конденсатором — широкогорлой бутылкой из-под молока.

Шерсть, древесина, хлопок, каучук, смолы — не так уж много полимеров создала природа. Химики сделали намного больше. Я очень люблю читать романы и всякие другие книги, на мне кажется, что интереснее всего читать самый обыкновенный учебник химии. Вот есть такой замечательный рассказ — не помню, какого писателя, — который называется "Золотой жук". Там человек находит записку, написанную непонятными знаками, но постепенно он расшифровывает каждый знак и всю записку и благодаря этому находит клад. Но в химии на каждой странице приходится примерно таким же образом расшифровывать формулы, определять в веществе каждую молекулу, каждый атом, а клад можно найти более ценный, чем нашли в этом рассказе.

Мне не хотелось уходить, но нужно было еще готовить с Колей уроки, а потом идти в цирк, и я сказала, что мне пора домой. И только после этого решила заговорить о том, что собиралась сказать вот уже несколько дней.

— Нам надо взять в нашу компанию Колю, — сказала я твердо.

— А ты что, его адвокат? — спросил Витя.

— Нет, не адвокат... Но Лену мы взяли.

— Лена — другое дело, — отрезал Витя. — А Коля пусть сначала химию подучит, чтоб хоть тройки были. А то он до сих пор не знает, как отличить кислород от водорода или как определить, кислота это или щелочь. А я это уже в первом классе знал или, может быть, еще в детском саду.

Витя, конечно, здорово знает химию, но и хвастается он тоже здорово.

— Почему ты говорил, что мы все вопросы будем решать коллективно, а сам всем распоряжаешься один? — спросила я. — А как ты, Сережа, смотришь, если Коля будет с нами?

Сережа помялся и сказал довольно решительно, что Коля нам пригодится, особенно учитывая, что Петькина компания решила переловить нас всех поодиночке и как следует вздуть.

— А ты, Женька?

— Женька у нас еще не имеет права голоса, — вмешался Витя.

Но обиженный Женька ответил ему:

— Я был против, а теперь я назло тоже скажу "за".

А Лена, хотя я к ней не обращалась, сказала, что она согласна с Витей, что Коля должен сначала подтянуться по химии.

— И вообще, — сказал Витя, — этому Галеге головной мозг попался случайно, он бы мог вполне обойтись спинным...

Я очень разозлилась и ушла. Дома я уже застала Колю. Мама пока использовала его физическую силу — он укреплял над окном карниз с чистыми занавесками.

Мы сели за уроки.

— Послушай, Коля, — сказала я. — А что, если тебе в самом деле хоть раз вызубрить уроки на память? Чтоб отвечать, не сбиваясь, как автомат... Это только для начала, а потом не нужно будет зубрить.

— Хорошо, — согласился Коля не слишком радостно и посмотрел на меня как-то странно.

Последнее время он иногда смотрит на меня так странно — глаза у него тогда бывают грустные и какие-то преданные. Я не хочу его обидеть даже про себя, но какие-то собачьи глаза. И мне, когда он так смотрит, очень хочется погладить его по голове. Черт его знает, что такое!

Учить на память — это, оказалось, хорошая мысль, только для Коли, а не для меня. У него, оказалось, очень сильная зрительная память — прочитает страницу и как будто сфотографировал то, что прочел. Вот, например, выучив страничку учебника, он сразу мог сказать, что написано в третьей строчке, а что на восьмой строчке. В общем, я поняла, что ему здорово можно подсказывать. Например, негромко, будто бы про себя, сказать вслух: "Тридцать два дробь четыре". Это будет обозначать — тридцать вторая страница, четвертая строчка, и он сразу вспомнит, что там, и выпалит: "Такие личинки называются "фин". Мы как раз учили про солитера в зоологии.

Когда мы сделали уроки, я спросила у Коли, может ли он таким же образом запоминать стихи.

— Какие стихи? — спросил Коля. Оказалось, что он никогда не учил стихов наизусть.

— А вот такие, — сказала я и прочла на память стихотворение, которое недавно придумала:

Не поможет ни сила, ни меткость,
Ни уменье, ни твердость руки.
У дантесов тяжелые веки,
И у них под глазами мешки.
Знать, поэтам пи шпага стальная,
Ни винтовка, ни острый кинжал
Не нужны, если их убивают
За стихи, что разят наповал.

— Давай я его перепишу, — сказал Коля. — Мне легче запомнить, когда я вижу это перед собой.

Я ему продиктовала стихотворение, и он сразу же отложил листок и прочел на память то, что я продиктовала.

— Здорово! — сказала я. — А знаешь, чьи это стихи?.. Это — мои.

— Не может быть, — ответил Коля убежденно и, вдруг сообразив, что я бы не стала врать, сказал: — А я думал — это из учебника по литературе. Просто даже не верится. — И он снова посмотрел на меня грустно и восхищенно.

Я понимаю, что, наверное, слова "грустно и восхищенно" должны как бы исключать друг друга, но он посмотрел на меня именно так и сказал:

— Я навсегда запомню эти стихи.

В цирке мне больше всего понравились жонглеры. Это, по-моему, настоящее искусство, и оно учит нас, как много может достичь человек, если будет постоянно работать над собой. Коле больше всего нравятся воздушные акробаты. И мне бы они тоже, может быть, нравились, если бы они все это проделывали не под куполом цирка, а на земле. Потому что мне совсем неприятно, если кто-то рискует собой, чтобы развлечь меня. И если мы отрицательно относимся к таким развлечениям, как сражения гладиаторов, которые бывали в древности, так почему мы одобряем гимнастов, которые перелетают с трапеции на трапецию, и достаточно им ошибиться на один сантиметр, чтобы разбиться?

Но хуже всего, по-моему, была женщина-змея. Смотреть, по-моему, на это стыдно и унижительно. Ну как это можно допускать, чтобы женщина просовывала голову между собственными ногами и смотрела назад в этой уродливой позе, а потом еще прыгала на руках, шлепая, как большая жаба!

Клоунов было аж три, и один из них, с грустным бледным лицом и рыжими в кудельках волосами, был по-настоящему смешным. Он подходил к артистам, служителям и даже к зрителям и все время задавал один и тот же вопрос: "Зачем ты это делаешь?" Все очень смеялись и ждали, когда он снова, как правило, в самую неподходящую минуту, задаст этот свой вопрос.

Наша русачка Елизавета Карловна говорит, что смех бывает умным и глупым. Так вот, на этот раз, мне кажется, смех был умным, потому что зрители смеялись не столько над клоуном, сколько над собой. Потому что у многих и о многом можно было бы спросить: "Зачем ты это

делаешь?" — и не все смогли бы ответить на этот вопрос.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Взрослых все-таки нужно жалеть. Ведь, как правило, они умирают раньше нас. Поэтому не следует придирается к их ошибкам и, проща говоря, не стоит выходить из себя, если видишь, что слова у них расходятся с делом.

Мама очень не любит, когда я или папа бодем. А мне очень правится болеть. И папе тоже. Только нам это редко удается. Мы все какие-то очень здоровые...

На этот раз папа заболел ангиной. У него повысилась температура до тридцати восьми градусов, и стало трудно глотать. Мама среди недели, а не в воскресенье, поменяла все постельное белье — к папе должен был прийти врач. А папа лежал па белоснежной, накрахмаленной наволочке очень серьезный, очень важный и очень грустный и незаметно мне подмигивал, и пил в постели чай с коньяком и лимоном.

— Как же ты здесь будешь один? — спросила мама.

— Не знаю, — ответил папа. И трагическим тоном добавил: — Но запомните, если я в ваше отсутствие умру, то трудно вам будет без меня, двум одиноким женщинам.

Мама сказала, чтобы я вернулась из школы пораньше, потому что я должна ухаживать за больным, а папа сказал, что раз в доме тяжелобольной, то я могла бы и вообще не ходить в школу, а ухаживать за ним. Но мама посмотрела сначала на его очень серьезное лицо, потом на мое очень серьезное лицо и сказала, что этот номер не пройдет и чтобы я отправлялась в школу.

В школе я просидела только четыре урока, а с двух последних — с географии и зоологии — отпросилась домой в связи с болезнью папы.

— А что с ним? — спросила учительница зоологии.

— Еще неизвестно, — ответила я. — Еще врач не приходил. Температура тридцать восемь.

У папы наверняка ангина, но я не сказала этого, потому что ангина слишком обыкновенная болезнь, для того чтобы отпустили с урока.

Я открыла дверь своим ключом, сняла пальто и тихонько вошла в комнату. Папа спал. Он любит поспать днем, только ему это редко удается. Я отправилась на кухню готовить нам еду: мама сказала подогреть бульон и заправить его яйцом.

В нашей семье бульон с яйцом едят, только если кто-нибудь заболел, а обычно мы едим бульон отдельно, а яйца отдельно. Мама меня предупредила, что если яйцо выпустить в горячий бульон, то оно свернется, и поэтому нужно сначала смешать и взбить вилкой это яйцо в половине чашки холодного бульона, а потом вылить эту смесь в кастрюльку с горячим бульоном. Я все так и сделала и подогрела второе — жареную телятину. У папы во время болезни удивительный аппетит, он говорит, что чем у него выше температура, тем ему больше хочется есть.

Когда у меня все было готово, я нарочно уронила крышку от кастрюли на пол и понесла бульон в комнату. От грохота на кухне папа проснулся и сказал, что он не спал.

Не успел папа пообедать, как пришла участковая врачиха Фаина Семеновна. Она измерила папе температуру, посмотрела горло, сказала, чтобы он и дальше принимал этазол и пил горячее, и велела ему три дня лежать в постели.

Когда ушла Фаина Семеновна, папа закурил, но сейчас же погасил папиросу и сказал, что курить ему противно, а это первый признак того, что он по-настоящему болен, а так как он по-настоящему болен, то к нему нужно проявлять чуткость и поэтому я должна его развлекать. Для начала "развлечения" он предложил сыграть в "буриме". Мы взяли по листику бумаги и карандаши.

— "Нету", — сказал папа.

— "Поэту", — ответила я и продолжала: — "Созвучья". Папа ответил на это:

— "Получше".

Мы записали эти слова и стали сочинять на них стихи. У папы всегда очень ловко получается буриме. В этот раз он так написал:

Новых рифм в помине нету
Очень плохо быть поэтом.
Все истрачены созвучья
И похуже и получше.

А я так написала:

Смешнее человека нету,
Чем тот, кто хочет стать поэтом,
Чтоб целый день искать созвучья.
Быть химиком — гораздо лучше.

Мы посмеялись сначала над тем, что он сочинил, затем над тем, что я сочинила, и стали играть в "типографию" — кто больше придумает слов из букв, заключенных в одном слове. Из слова "председатель" папа составил восемьдесят шесть слов, а я — двадцать семь. В "типографию" он всегда выигрывает. — Ну, а что у вас в школе? — спросил вдруг папа.

— Ничего, — ответила я. — Опять получила тройку по сочинению.

— Почему?

Я рассказала, что Елизавета Карловна задала нам на дом написать сочинение на вольную тему — кому про что захочется. Я написала сочинение, под названием "Золото и железо".

— Покажи, — сказал папа.

Я дала ему свою тетрадку, и он начал внимательно читать. Вот что я там написала:

"Из золота делают разные драгоценные вещи, например кольца. У моей мамы есть золотое обручальное кольцо. И когда я была маленькой, оно мне очень нравилось, а теперь уже не нравится. Лучше бы кольца делали из железа, потому что когда хотят узнать, богатое какое-нибудь государство или нет, то спрашивают не про то, сколько оно имеет золота, а про то, сколько оно вырабатывает железа, потому что именно железо — самый главный металл.

А золото, которое называют благородным металлом, фактически металл кровавый. И правильно писали разные писатели, что золото принесло людям много неприятностей. Для того чтобы его получить, люди убивали друг друга, воевали друг с другом или продавали людей, как рабов. Я читала в какой-то книжке, что если бы все слезы, которые пролили из-за золота, собрать в одно место, то вышло бы целое море. Это объясняется тем, что за золото в капиталистическом мире можно все купить, то есть можно самому не работать, а жить за счет эксплуатации.

Мы с вами счастливые люди. Мы живем в новом, светлом, социалистическом мире. У нас хозяевами жизни, хозяевами страны являются не алчные хищники и стяжатели, а люди труда. В нашем новом мире все природные богатства, все достижения науки, техники, культуры служат народу, используются для того, чтобы жизнь людей становилась с каждым годом лучше, счастливее, интереснее, радостнее. Таков главный закон нашего светлого мира — мира социализма".

— Почему же тройка? — спросил папа.

— Елизавета Карловна сказала, что поставила бы мне пятерку, — ответила я, — так как тема моего сочинения правильная и оно идейно по своему содержанию, если бы я не списала конец из "Комсомольской правды". А мне никогда даже в голову не приходило, что Елизавета Карловна читает "Комсомольскую правду". И как можно запомнить, что где написано? Для этого все-таки надо иметь очень хорошую память.

— Оля Алексеева, — сказал папа, — это уже плагиат. Так ты, чего доброго, перепишешь "Белеет парус одинокий" и скажешь, что это ты сама написала.

На этом папа закончил нотацию, и мне показалось, что он совсем не огорчен моей тройкой. Мама мне это так легко бы не спустила. Папа попросил, чтобы я ему дала еще чаю с лимоном и коньяком и положила побольше сахара. Он всегда кладет в стакан по шесть, а то и по семь кусков сахара. Не понимаю, как может мужчина быть таким сластеной. А когда я ему дала чай, он отпил немного и спросил, хочу ли я послушать, какую новую статью он собирается написать.

По-моему, он немного притворяется, когда задает такой вопрос. Он отлично знает, что больше всего на свете я люблю слушать его рассказы о статьях, какие он только задумал. В такие минуты я им особенно горжусь. Это и в самом деле здорово: тысячи и даже миллионы читателей еще даже не догадываются, что будет такая статья, ее еще не напечатали машинистки, не набрали наборщики, еще не оттиснули на газетных листах огромные, постоянно спешащие ротационные машины, лесоруб, может быть, только срубил дерево, из которого сделают бумагу, а я уже знаю, что будет в этой статье. Это все равно что заглядывать в будущее. Хоть краешком глаза, а заглядывать.

— Эта статья будет называться "Существует ли любовь?", — сказал папа и искоса, чуть прищурясь, посмотрел на меня.

Я сделала безучастное лицо. Мне было страшно любопытно, потому что я сама часто задумывалась над этим вопросом, но я боялась, что вдруг папа раздумает и прекратит рассказывать, хотя бы потому, что статья, судя по названию, относилась к числу таких, о которых на афишах кинотеатров предупреждают: "Детям до шестнадцати..." Хотя, с другой стороны, газета это не кино, и ее может прочесть любой ребенок и даже первоклассник.

— Видишь ли, — сказал папа, устраиваясь в постели поудобнее, — в чувство дружбы

государство не вмешивается. Это личное дело каждого — дружить ему с каким-то человеком или не дружить. А вот с чувством любви дело обстоит сложнее. Брак заключается, или, во всяком случае, должен заключаться, по любви. Семья представляет собой ячейку общества, как бы частицу государства. И вот Карл Маркс писал когда-то, что если бы брак не был основой семьи, то он так же не являлся бы предметом законодательства, как, например, дружба. Ты понимаешь это? — спросил папа.

— Понимаю, — ответила я не очень уверенно, потому что не знала, к чему он ведет.

— Но вот, — продолжал папа, — в нашу редакцию приходит много писем, в которых рассказывается, что с чувством любви у нас часто совершенно не считаются, как будто его не существует. В результате этого очень затруднены разводы в семьях, которые фактически распались, а люди, не получившие формального развода, не могут на законных основаниях создать новую семью. Я расскажу в этой статье о мальчике, который в четвертый раз убегает из дому, потому что его родители постоянно спорят и дерутся между собой. И о детях, у которых в метрике вместо фамилии отца прочерк, потому что родители не смогли оформить развода. И, наконец, отвечу тем, которые возражают против того, чтобы облегчить расторжение браков, потому что от этого страдают дети... Действительно, всякий семейный разлад отзывается на детях. Но нужно еще разобраться, от чего дети больше страдают. Какое из двух зол большее родители, которые не любят друг друга, часто ссорятся, скандалят и отравляют этим жизнь детей, или родители, которые, хоть и расторгнут брак, но воспитывают детей в дружной, новой семье. Ну и в конце сделаю вывод о том, что если любовь существует, так с ней уже приходится считаться... В общем, я вижу, что статью на такую тему тебе читать будет не интересно.

— Нет, — ответила я не сразу. — Мне это интересно. — А потом вдруг спросила: — Значит, мой родной отец и мама спорили между собой?

Папа страшно растерялся.

— С чего ты это взяла? — сказал он наконец. — Ничего подобного... Они никогда не ссорились и очень уважали друг друга... А как это тебе удалось так рано вернуться сегодня из школы? — постарался он перевести разговор на другую тему.

Мне было неприятно, что папа так смущен и растерян, и, конечно, в другое время я тоже охотно перевела бы разговор на школу, но сейчас я решила выяснить все до конца.

— Меня отпустили, — сказала я. — Но скажи — когда журналист или писатель что-нибудь пишет, он всегда пишет как бы о себе?

— Да, — ответил папа твердо. — Всегда. Как бы он ни старался быть объективным, но все равно все, о чем он пишет, преломляется в нем, все видится его глазами.

— Но если мой родной отец и мама не ссорились между собой, почему мама его оставила?

Я сама не ожидала, что спрошу это так резко. Папа лежал на кровати, опешивший, растерянный, несчастный, с высокой температурой.

— Откуда ты это знаешь? — спросил он, не глядя на меня.

— Он приезжал недавно. Я с ним виделась.

— Это очень сложно, — сказал папа и посмотрел мне прямо в глаза. Боюсь, ты меня не

поймешь. Я очень люблю твою маму. Понимаешь... Можно быть счастливым человеком в самом черном государстве и несчастнейшим при самом справедливом строе. Многое зависит от того, кто рядом с тобой. А и я и твоя мама можем быть счастливыми, только если мы будем вместе.

Он так сказал это, что у меня сдавило горло. Кажется, я заразилась от Колиной мамы ее болезнью.

— И все-таки, — сказал папа, — ты маме не говори, что знаешь об этом. Ей будет неприятно.

— А я и не собиралась, — ответила я.

— И приготовь мне, пожалуйста, еще чаю.

Папа снова закурил, глубоко втягивая в себя табачный дым.

Я все-таки больше похожа на папу, чем на маму. Хотя он мне и не родной отец. Я имею в виду не лицом, а в моральном отношении. У меня тоже недостаточная сила воли.

Папа бросал курить уже, наверное, сто раз. Делал он это всегда торжественно и жизнерадостно.

— Больше я не курю! — объявлял он маме и мне. — Для чего мне отравлять собственные легкие ядом, каплей которого можно убить голубя, кролика и даже лошадь. Ученые подсчитали, что процент заболеваний раком у курящих намного больший, чем у людей, которые, как ты и Оля, никогда в жизни не курили. Это последняя сигарета.

И он закуривал эту "последнюю" сигарету, а всю остальную пачку выбрасывал в мусоропровод, или в урну, или просто в Днепр — в зависимости от того, где это происходило.

Затем папа каждый день объявлял: "Четвертый день не курю! Пятый день не курю!" Так доходило до сорока дней. Но после этого он неизменно снова начинал курить и очень сердился, если ему напоминали, что он обещал больше никогда этого не делать.

Я похожа в этом на него. Сколько раз я решала, что буду готовить как следует все уроки, что буду устные готовить так же старательно, как письменные, что не буду рассчитывать на то, что меня не вызовут. И все равно — я не уверена, что делала это хоть сорок дней подряд.

Но дело не в этом. Дело в том, что, как ни странно, с папой мне легче разговаривать, чем с мамой. А сегодня я еще раз убедилась: он мне как-то ближе и понятнее.

И еще одно: я не могу этого объяснить, я это только чувствую, но мне кажется, что папа хочет написать эту свою статью о любви, чтобы оправдаться перед самим собой. А маму он очень любит. И меня. И это очень здорово!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Коля был недоволен отметкой. Он и не скрывал этого. Садясь за парту, он так хлопнул крышкой, что учитель истории Михаил Иванович вскинул голову и так посмотрел на Колю, что я подумала, что он выставит его из класса, и дернула Колю за рукав, но учитель помолчал минутку и продолжал урок.

Все-таки в последнее время Коля стал придавать слишком большое значение отметкам — четверка по истории его уже не устраивала. Конечно, если разобраться по справедливости, так

отвечал Коля на пятерку. Михаил Иванович поставил ему четверку, по-моему, только потому, что некоторое время болел, не ходил в школу и привык еще к старой Колиной репутации двоечника.

Теперь я понимаю, какая это прочная штука — репутация, как медленно она складывается и как трудно меняется. На том же уроке истории вызвали Лену. Она явно не выучила, путалась, сбивалась. И все равно Михаил Иванович поставил ей четверку. Вот что значит репутация отличницы.

У нас было родительское собрание. Мама вернулась с него очень мной довольная: Елизавета Карловна хвалила меня, говорила, что у меня будто бы большие педагогические способности, что во мне произошел какой-то перелом, что я стала значительно серьезнее, чем была прежде, и очень хорошо сумела помочь Коле Галеге. Потом Колина мама благодарила мою маму и говорила ей, что когда я прихожу, так у них дома от этого праздник.

Мама тут же добавила, что если у меня не будет головокружения от успехов и если я и дальше буду так же серьезно относиться к учебе, то я еще выйду в отличницы и докажу, что я не хуже Лены Костиной, которую по-прежнему ставили всем в пример.

А по-моему, это совершенно не нужно доказывать. Все и так знают, что я не глупее Лены Костиной и ум тут совершенно ни при чем, а просто Лена Костина старательнее меня и многих других и, очевидно, способнее к наукам. Она, правда, меньше других способна к химии и этим напоминает Колю, который теперь, как и Лена, вошел в нашу компанию и которому, как и Лене, скучновато, когда мы обсуждаем химические вопросы.

На днях Коля сказал мне:

— Хорошо учиться — очень просто. Не нужно для этого никаких особенных способностей. И совершенно ни к чему зубрить. Достаточно ежедневно готовить уроки. И все. Жалко мне теперь, что я потерял год.

Черт его знает, зачем, но я сказала:

— Значит, тебе больше не нужна моя помощь?

Нет, мама была все-таки права насчет головокружения от успехов. Я быстро привыкла к тому, что Колины пятерки все, и особенно он, связывали с моим участием.

— Нет, не нужна, — отрезал Коля. — И я тебе скажу — мне надоело, что ты всюду хвастаешь. И что на меня смотрят, как на ученую собаку, а на тебя, как на дрессировщика. Хватит. И сидеть с тобой я тоже больше не хочу.

— Ну и не сиди, — сказала я. — Я тебя не звала. — И добавила: Самшитик.

Коля странно посмотрел на меня и очень покраснел. Если бы, конечно, это сказала не я, а кто-нибудь из мальчишек, сейчас бы тут была хорошая драка. Я даже думала, что он и меня ударит, и мне хотелось этого. Если бы он меня ударил — я была бы права. Но он отвернулся от меня и пошел, но вдруг возвратился, посмотрел на меня с презрением и сказал:

— Эх ты... А я тебя человеком считал... А ты занималась со мной, чтобы тебя похвалили... что ты помогаешь отстающему...

И ушел. А я немного поплакала и тоже пошла домой. Я открыла дверь своим ключом и вошла в

переднюю. Когда я разделась, я заметила, что мамино пальто висит на вешалке. Значит, что-то случилось. Я вошла в комнату и увидела, что мама переодевается. Тут мама — как была в одной комбинации — схватила меня за руки и закружила по комнате. Я кружилась очень неохотно. Мама отпустила меня и сказала:

— Ну, Лялька, поздравь меня и себя тоже — на зимние каникулы мы с тобой и с папой поедem в Москву. Наш проект получил на всесоюзном конкурсе первую премию.

Мамин отдел проектировал для целины типовые зернохранилища, мама последнее время очень много работала и очень волновалась из-за своей работы.

Нам ли стоять на месте?

В своих дерзаниях всегда мы правы.

Труд наш — есть дело чести,

Есть дело доблести и подвиг славы,

вдруг запела мама свой любимый "Марш энтузиастов". Когда у мамы веселое настроение, она сразу вся как-то хорошеет и становится удивительно, ну просто редкостно красивой.

Многие ребята из нашего класса уже побывали в Москве. И мне тоже очень хотелось побывать в Мавзолее Ленина и в Кремле и посмотреть на кремлевские звезды. Я так много раз видела Москву в кино, что мне кажется, я буду узнавать улицы. Здорово будет, если я тоже побываю в столице нашей Родины.

— Хочешь посмотреть, что я тебе купила? — спросила мама. И она все еще не одетая и необутая, в одних чулках подбежала к своей сумке и вынула оттуда серую небольшую коробочку. — Держи. Это тебе. Подарок...

Я открыла коробочку. Там лежали часики, такие маленькие, что у них не было даже секундной стрелки.

— Сегодня купим ремешок, и будешь их носить. Только не в школу. Я свои первые часы получила в шестнадцать лет. И не такие, — сказала мама. Намного хуже. А сейчас переоденешься быстренько. Сейчас придет папа, и отправимся обедать в ресторан.

— А уроки? — спросила я.

— Сделаешь позже, — сказала мама. — Может, хочешь пригласить с собой своего Колю?

— Нет, — ответила я, — он такой же мой, как твой. И я не хочу никого приглашать.

— Поссорились? — спросила мама.

— Нет, — сказала я. — Я ни с кем не ссорилась.

Я ответила так резко, что мама посмотрела на меня и сказала сквозь зубы — она причесывалась и в губах держала заколки:

— Очень ты все-таки тяжелый человек. Любую радость можешь испортить. Другая девочка не так бы обрадовалась таким часам. И уж, во всяком случае, поблагодарила бы за них.

— Спасибо, — сказала я. — Я просто...

Я не хотела огорчить маму. Я в самом деле была рада ее подарку и благодарна ей. Мне всегда

хотелось иметь такие маленькие часики. Просто сегодня... А кроме того — куда же их еще надевать, как не в школу? Ведь именно в школе хочется, чтобы у тебя на руке были часы, чтоб посмотреть, много ли еще осталось до конца урока, успеет ли тебя учитель вызвать. А когда я сижу дома, они мне ни к чему — у нас будильник, и еще такие круглые часы на шкафу, и настенные на кухне. И на улице теперь часы на каждом углу, возле почты и во многих витринах. Я думаю, что у людей, которые живут в большом городе, наручные часы являются скорее украшением, чем измерителем времени. Потому их стараются делать такими красивыми, и даже есть уже кольца с часами.

— Ох, Лялька! — сказала мама, надевая свой синий костюм джерси. — Все люди строят воздушные замки, но при малейшем ветерке они разлетаются. И только мы, наша проектная группа, решила создать такой воздушный замок, чтобы он стоял, как каменный. Наш склад будет построен из воздуха... Представляешь себе — огромные капроновые полотнища, под которыми будет поддерживаться давление немного выше атмосферного. Такой склад будет в двенадцать раз дешевле самого дешевого из существующих теперь, а кроме того, его легко перевезти на другое место и поставить можно буквально за день... Так что у тебя в школе?

— Ничего. Все благополучно.

— Брось, брось. Я тебя насквозь вижу. Покажи дневник. Я показала.

— По физике пятерка. И по географии? И даже по геометрии? Молодец, Лялька!.. Так чем же ты недовольна?

— Я всем довольна.

— Ну, иди переоденься. С тобой не договоришься... Папа сейчас придет.

Примчался папа, веселый, красивый, нарядный — он купил себе такое коротенькое пальто из какой-то синтетики, — и закричал на нас:

— Милые дамы, подгоните ваших портных, парикмахеров и сапожников, потому что внизу ждет такси, и счетчик в этом такси крутится с нездешней силой.

Папа нас растормошил, мама докрашивала губы уже на лестнице, а папа тем временем говорил:

— Есть у американцев такая паршивая поговорка: "Время — деньги". Обычно этого как-то не чувствуешь. Но до тех пор, пока ты не просишь таксиста подождать то небольшое время, какое требуется жене, чтобы накрасить губы и примерить пяток платьев.

— У меня всего пять платьев, — огрызнулась мама.

— Ой ли? — ответил папа.

— Но как ты догадался? — счастливо рассмеялась мама. — Именно пять новых платьев я себе собираюсь сейчас сшить. Да самых модных! А тебе — новый костюм. Ты видел, какие я часы Оле купила?

— Нет. Когда же я мог?

— Нужен ремешок. Надо было взять часы с собой. Купили бы ремешок по дороге.

— Я сбегаяю, — предложил папа.

— Ладно, потом, — ответила мама.

Мы сели в такси. Как всегда, мама и папа сзади, а я впереди, рядом с шофером.

— В ресторан "Динамо", — сказал папа водителю, пожилому человеку, который очень недовольно покосился на меня, когда я завертела ручку, открывая окно со своей стороны.

Машина тронулась, а я все раздумывала о том, как же будет с Колей. Конечно, если бы я рассказала маме о нашем разговоре, то она ответила б, что я сама виновата, потому что я его обидела. Но ничем особенным я его не обидела. Ему часто говорили Самшитик, да и теперь говорят, и никогда он не обижался. Он просто стал теперь таким обидчивым. Успех меняет людей. И не всегда к лучшему.

И мне очень захотелось, чтобы Коля, после того как поссорился со мной, снова начал получать двойки. Вот тогда бы он узнал. И все бы увидели, что хорошо учиться он начал под моим влиянием.

— Коля тебе ничего не говорил? — неожиданно спросил папа.

— Нет, — ответила я недовольно, потому что мне показалось, что он будто подслушал мои мысли.

— Значит, он ничего не знает... А тебя ждет большой сюрприз.

— Какой?

— Сюрприз имеет такое название потому, что должен быть неожиданным. Но я тебе расскажу, — сказал папа, расплачиваясь с водителем. — Пойдемте?

Он взял под руку маму и меня, а мы с мамой почти одного роста, и повел нас вверх по длинной и широкой лестнице к ресторану "Динамо".

В ресторане, когда мы уже сели за столик и когда наш знакомый официант, совсем молодой человек, подстриженный ежиком, по имени Федор Павлович, спросил у мамы, как ее здоровье, хотя мама никогда и ничем не болеет, спросил у меня, не именинница ли я сегодня, сказал папе, что погода портится, и посоветовал нам взять на обед беф "Динамо" — я только видела это блюдо, а никогда его не ела — это такое мясо, запеченное в горшочках, а сверху горшочки накрыты белым тестом, — папа сказал, чтобы нам дали этот беф "Динамо" и еще бутылку мускатного шампанского, а потом уже рассказал мне, что он как депутат горсовета выступил на заседании комиссии, которая занимается жилищным вопросом, и сказал, что родители Коли живут в плохих квартирных условиях и что Колина мама, Елена Евдокимовна Лукашенко, герой Отечественной войны, и им уже выделили квартиру в новом доме, в нашем же районе, почти против нас, и что дом этот на днях будет принят государственной комиссией и заселен.

Папа никогда прежде не говорил, что он депутат городского Совета. Я об этом даже не догадывалась. А мама смотрела на папу смеющимися влюбленными глазами и говорила, что он молодец, что это он сделал замечательное дело, что она хочет выпить шампанского за то, что он такой хороший, и чтобы он всегда был таким, а папа смущенно отмахивался и говорил, что она его напрасно хвалит, что он зазнается и перестанет узнавать знакомых, а также слушаться жену и других начальников, а я смотрела на них, и мне было завидно, что им так хорошо и весело.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Все-таки очень приятно умыться собственным мылом. Наверно, на всем земном шаре немного найдется людей, которые могли бы этим похвастаться.

Мыло приготовила я сама. Я положила в эмалированную кастрюлю топленое масло. Мама говорила, что его все равно нужно выбросить, потому что оно прогорклое. Масло это я залила раствором едкого натра. Раствор был примерно сорокапроцентный. Я сварила этот состав, все время добавляя в него воду и помешивая деревянной ложкой. Затем я добавила в кастрюлю раствор обыкновенной кухонной соли, и на поверхности выделился слой мыла. Это мыло я собрала и отжала через марлю, а потом спрессовала его, положив между двумя слоями фанеры и усевшись сверху. Получился такой мыльный блин. Да, чуть не забыла, я добавила в это мыло мятных капель, и у меня мыло — мятное. Пена даже холодит кожу.

Я умылась собственным мылом, выпила стакан молока, съела ломтик хлеба, намазанный маслом и медом, и пошла в школу с готовым планом, как отомстить Коле. На эту мысль меня натолкнули "Приключения Тома Сойера". Я давно эту книжку читала, но хорошо помню, как там Бекки, когда обиделась на Тома, стала разговаривать с каким-то мальчишкой, которого Том вздул.

Вообще это очень хорошая книжка, и там много полезного. Непонятно только, какого возраста этот Том Сойер. То он ведет себя, как первоклассник, то вдруг вступает в "Общество трезвости", как взрослый, то рассуждает, как маленький ребенок, то как вполне разумный человек. Нет, я понимаю, что это может быть: я замечала, что мои одноклассники иногда рассуждают, как маленькие дети, а иногда — как старики, но все-таки хотелось бы точно знать, сколько лет ему было, когда он с Гекком Финном нашел в пещере сокровища.

Я шла очень медленно и пришла к самому началу урока. Коля уже был в классе. Он вернулся на заднюю парту. Я этого ожидала и все-таки надеялась, что он этого не сделает.

Я села на место и услышала, как в классе зашумелись.

На первом уроке наш математик Климент Ефремович вызвал меня и задал задачу — довольно простую, я знала, как ее решить, но все равно она у меня не получалась, потому что я допустила глупую арифметическую ошибку: от 82 отнять И я написала 72, и из-за этого вышел неправильный результат.

А сбилась я потому, что в классе, пока я отвечала, время от времени возникал, как говорит Елизавета Карловна, "нездоровый смех". Смех этот вызывал Сережа. У него насморк, и он научился каким-то особым образом сморкаться в платок. При этом он носом издает звук, похожий на звук трубы в начале низкий и громкий, а заканчивается он таким тоненьким писком.

Если бы кто-нибудь другой так высморкался, то не обратили бы внимания или удивились и даже сказали, что так сморкаться неприлично. Но когда это делает Сережа, все вокруг смеются и считают, что это очень остроумно, потому что все и всегда ждут от него смешного. И он так к этому привык, что когда хочет сказать что-нибудь серьезное, а вокруг смеются, так он уже даже не обижается.

Климент Ефремович несколько раз подозрительно посмотрел на Сережу, но промолчал. У Сережи в самом деле был насморк, и, очевидно, Климент Ефремович не решился делать замечание человеку за то, что тот странно сморкается. Затем он просмотрел на доске мое решение и спросил:

— В чем тут ошибка? Кто скажет?

В классе первыми поднялись две руки: Лены Костиной и Коли Галеги.

— Вот, значит, как? — удивился Климент Ефремович. — Ну скажи, скажи, предложил он Коле.

Коля сказал, что я неправильно отняла и что поэтому результат у меня получился неверный.

— Так, — сказал Климент Ефремович. — Нужно быть внимательней. Дай дневник.

Я дала дневник, и он мне все-таки поставил четверку. Я много раз замечала, что Климент Ефремович ко мне несправедлив. Но в хорошую сторону. Он мне всегда завышает отметки. Другому бы он поставил тройку.

Я не знаю, почему он так ко мне относится, но я много раз замечала, что обычно глаза у него усталые и какие-то отрешенные, какие-то погруженные в себя, а когда он посмотрит на меня, глаза у него всегда веселеют. Но вот то, что Коля первым поднял руку, это уже, по-моему, просто свинство. Подумаешь отличник... Если бы он ошибся, я бы так не сделала.

На перемене Коля вышел из класса вместе с Леной, а когда я тоже вышла в коридор, то услышала, что Лена оживленно и громко говорит Коле:

— Нет, нет... Совсем не так. И "гуд найт" и "гуд бай" при прощании обязательно нужно произносить с восходящим тоном. Если их произносить, как ты и некоторые другие, с нисходящим тоном, то это у англичан считается очень грубо и невежливо и обозначает "идите вон, а я с вами больше не хочу разговаривать"...

Следующий урок у нас английский, мы этого не учили, и я по правде не знаю, чем отличается восходящий тон от нисходящего.

"Ну что ж, ладно", — решила я и стала разыскивать Сережу, чтобы привести в исполнение план, подсказанный мне "Томом Сойером".

— Оля, — сказал Сережа, — а я тебя как раз ищу. Пошли в медпункт. Поможешь мне. Поддержишь меня за ноги.

— Зачем за ноги?

— Ну, пока мне будут капли в нос закапывать. А то я сам не удержу стойку на руках.

Мы пошли в медпункт, и наша докторша, вместо того чтобы выставить нас за дверь, сначала посмеялась, а потом действительно согласилась закапать Сереже нос в положении вниз головой, заметив при этом, что так капли в самом деле не вытекут из носа и попадут, куда им нужно.

Сережа вышел из медпункта на руках. За дверью его ждала восторженная толпа пятиклассников во главе с Женькой Ивановым. Я еще не видела, чтобы человека так обожали, как пятиклассники Сережу. Они смотрят на него, как на бога. Если бы Сережа вздумал, они бы его носили на руках. Никто так не ценит смешного и не нуждается так в смешном, как пятиклассники.

— Послушай, Сережа, — сказала я. — Может, ты пересядешь за мою парту?

Сережа посмотрел на меня очень понимающими, очень умными и даже сочувственными

глазами, но сейчас же скорчил шутовскую физиономию и ответил:

— Сначала мне следовало бы поступить в секцию бокса, потому что драка с Самшитиком — не шутка. Но я никогда не забуду, как ты со мной поделилась последним бутербродом, и поэтому готов для тебя на все.

Позавчера я на перемене только развернула и положила на парту бутерброд, чтобы съесть его, как Сережа незаметно стащил мой бутерброд и съел его сам.

На следующем уроке была русская литература. Хорошие ребята учатся в нашем классе. Все сделали вид, что в том, что Сережа пересел за мою парту, нет ничего особенного. И даже Елизавета Карловна сделала вид, что ничего не заметила. Хотя этого я уж никак не ожидала. Елизавета Карловна не любит, чтобы ученики в ее классе меняли места без ее разрешения.

Елизавета Карловна рассказывала нам о формах поэзии и о белом нерифмованном стихе, который требует от поэта еще большего мастерства, чем рифмованный стих. В пример она приводила лермонтовскую "Песню о купце Калашникове".

— Можно вопрос? — сказал Сережа и поднял руку.

— Какой вопрос? — спросила недовольно Елизавета Карловна.

— Я не знаю, как поэтам, а мне очень легко сочинять белые стихи, сказал Сережа. — Я могу переложить в белые стихи любую газетную статью или даже учебник.

— Что за чепуха! — сердито посмотрела на Сережу учительница и, как всегда, поморщив нос, передвинула чуть выше очки.

— Пожалуйста, — сказал Сережа, раскрыл учебник литературы и стал читать с огромным пафосом, повышая голос на концах строк:

Художественная литература, живопись, музыка,
Театр, кино, танцы, архитектура, зодчество, скульптура,
Все это различные виды Искусства. Художественная литература состоит
Из произведений, написанных писателями — поэтами, прозаиками, дра...

Все сидели совершенно огорошенные не столько самими стихами, сколько горячностью, с которой их произносил Сережа, а кто-то даже подвывал от удовольствия.

— Хватит, хватит, — сказала Елизавета Карловна, но Сережа, как поэт в порыве вдохновения, в позе Пушкина со знаменитой картины "Пушкин выступает в Лицее", продолжал:

матургами. В этих произведениях, как и в других видах искусства, в художественной
Форме в образах отра...

— Хватит, — сказала Елизавета Карловна. — Мы уже насладились твоими стихами. Садись.

И, когда Сережа сел, она продолжала:

— Вот, ребята, Сережа привел очень яркий пример к тому, что я говорила. Как видите, одной перестановкой ударений нельзя сделать стихов из прозы. Однако, если бы он не импровизировал, а подготовился как следует дома, ему, возможно, удалось бы даже зарифмовать между собой строки, которые он нам читал. Но и от этого они не стали бы более поэтическими. Как я вам объясняла, поэзия это не ритм и не рифма, а прежде всего мышление образами.

Елизавета Карловна продолжала урок, но я отвлеклась и некоторое время не слышала того, что она говорила, потому что задумалась о ее словах. Я совсем не понимаю, что значит "мышление образами". По-моему, все люди мыслят образами. Даже при решении арифметических задач. Даже цифры можно себе представить в виде образов. И я начала складывать в голове сказку о цифрах.

Когда-то королевство цифр,
Своих соседей покорив,
На зависть и на страх врагам,
Тра-та-та-там, тра-та-та-там...
Царящей, держащей власть
Династия 1 была.
Царь, выступая, гордо нес
Свой длинный, тонкий, острый нос.
Его министр первый — 2.
Он, говорили, голова.
И вправду, голова его
Министра больше самого.
Но шел слухок из уст в уста,
Что голова его пуста.
Затем что-то такое про 3 и 4, а потом:
Богаты страшно 5 и 6
Имений, фабрик их не счесть.
Тот и другой вперед песет
С огромной важностью живот.
Из 7 надо будет сделать военного.
А 8, 9 — те купцы,
В их магазинах леденцы,
Автомобили "кадиллак",
Идут отлично их дела.
А нуль мы сделаем ученым.
Толстым и добрым ученым.
Профессор — старый толстый нуль.
Старик боится свиста пуль,
Автомобилей, лошадей,
Дам, жаб, мальчишек и т. д.

"И т. д." или иначе "и так далее", как любит говорить мой родной отец.

Я подумала о том, что нужно будет написать в Новосибирск письмо. Написать, чтобы отец прислал мне свою фотографию и фотографию своих детей, раз уж они мне какие-то

родственники. Что я живу очень хорошо, и увлекаюсь химией, и всем довольна.

И еще я подумала, что если бы за моей партой сидел Коля, то я бы ему шепнула: "Я решила написать письмо своему отцу в Новосибирск", а он бы не удивился, кивнул головой и тихо ответил: "Ну что ж, напиши". А Сереже я этого не могла сказать.

А потом уже я подумала, что из меня никогда не будет хорошей ученицы, потому что, пока я все это думала, урок закончился, а я почти ничего не слышала и не запомнила.

После уроков Коля, Витя, Сережа и Лена, как ни в чем не бывало, пошли вместе домой, и моя выдумка с "Томом Сойером" ничего не дала, а я осталась в школе, чтобы повидаться с Евгенией Лаврентьевной.

Мне всегда нужна теория. Когда мне было четыре года (я хорошо помню, в четыре года меня отдали в детский сад), я услышала от соседской девочки, что вода состоит из газов, из водорода, который так называется потому, что родит воду, и кислорода. Если их соединить и пропустить хоть маленькую искорку, раздастся взрыв и получится капля воды.

Я тогда же сложила для себя теорию, что тучи состоят из газа, я даже знала, что белые — это водород, а черные — кислород, и что когда между ними проходит искра — молния, то раздастся взрыв — гром и падают капли воды.

Я была настолько уверена в правильности этой своей теории, что узнала, как получается дождь на самом деле значительно позже, чем нормальные дети, кажется, только в четвертом или пятом классе, когда нам рассказывали об этом в школе.

Сейчас у меня новая теория, и я хотела посоветоваться о ней с Евгенией Лаврентьевной.

Я долго ждала за дверью, пока уйдут ученики из разных классов, которые после уроков всегда остаются в лаборатории, задают Евгении Лаврентьевне вопросы, проводят опыты, которые их интересуют.

Наконец они стали выходить, но Евгения Лаврентьевна вышла вместе с ними. Однако, когда она увидела меня, она спросила: "Ты ко мне, Оля?" — и вернулась в лабораторию. А я за ней.

— Что у тебя такое? — спросила Евгения Лаврентьевна чуть ворчливо, но на часы не посмотрела. Она никогда не смотрит на часы, если разговаривает с ребятами.

Я сначала расспросила Евгению Лаврентьевну, что такое "губчатая платина", а она спросила, где я встретила это название, и рассказала мне, что это такое, а потом уже я сказала:

— И еще я хотела у вас спросить... есть ли ученая формула про то, что такое любовь и отчего она происходит?

— Формула? — удивилась Евгения Лаврентьевна. — По-моему, нет. Я, во всяком случае, не знаю такой. А у тебя на этот счет появилась новая теория?

— Да, — сказала я. — Химическая. Мне кажется, что это — как соединение химических элементов в какое-то вещество... Или, вернее, двух веществ в одно новое. В одном не хватало одних элементов, в другом — других элементов, а когда она соединяются, они как бы дополняют друг друга. И любовь тоже, может быть, появляется, когда в одном человеке не хватает одного, а в другом другого, и они это чувствуют и как бы тянутся друг к другу.

— Нет, — сказала Евгения Лаврентьевна, — это значительно сложнее в химии, а уж в жизни — и говорить не приходится... Ты пишешь стихи?

— Да, — ответила я. — Пишу.

— Прочти мне что-нибудь на память.

Я прочла Евгении Лаврентьевне стихи про Буратино и про Тараса Шевченко. Она слушала очень внимательно и, как говорит в таких случаях мой папа, уважительно, а потом сказала:

— Я не считаю себя знатоком поэзии, и поэтому мое мнение не может иметь особой цены. Но мне твои стихи понравились, и я думаю, что тебе следует продолжать их писать... Ну, а теперь, если у тебя нет других вопросов, пойдём домой.

И уже по дороге она сказала:

— Писатели иногда каким-то удивительным образом догадываются о том, что лишь впоследствии открывают ученые. Вот, например, ты читала "Путешествие Гулливера" Свифта?

— Читала.

— Я не знаю, обратила ли ты на это внимание, но Свифт упоминает там, что у Марса есть два спутника. Тогда еще не было телескопов и люди не знали о спутниках Марса. Но впоследствии ученые установили, что у Марса действительно есть два спутника — Деймос и Фобос. Как об этом мог догадаться Свифт — неизвестно до сих пор.

Она замолчала, и я подумала, что она сейчас расскажет о своей теории, откуда это могло быть известно Свифту, но вместо этого она сказала:

— Или вот ты еще будешь изучать роман Чернышевского "Что делать?". В этом романе Чернышевский назвал алюминий металлом социализма и говорил, что в будущем будут сооружаться громадные дома с массой света и воздуха из алюминия и стекла. В те времена, а роман этот был написан в начале 1863 года, алюминий считался драгоценным металлом и стоил примерно столько же, сколько золото. Еще через шесть лет после того, как был написан роман, в Лондоне побывал Менделеев, и ему в знак признания его заслуг в развитии химии был сделан особо ценный подарок — весы из золота и алюминия. А сегодня наш Дворец спорта в самом деле построен из алюминия и стекла. И алюминий действительно стал "металлом социализма"...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Это называлось "торжественная линейка". Но нас просто всех собрали в школьный зал, а на сцене двое военных — об одном из них Витя шепнул мне "полковник", а о другом — "капитан" — дали Юре Дроботу из 6-го "А" класса именные часы и грамоту.

Юра, тихий мальчик в очках и с "собачьим прикусом" — нижние зубы у него выдаются вперед — сказал в ответном слове, что он ничего особенного не сделал и что так же, как он, поступил бы на его месте каждый пионер, а мы все аплодировали ему и немного завидовали.

Конечно, Юра сказал неправду. Так бы поступил не всякий. Во всяком случае, до того, как это сделал Юра. Но теперь, после того как он совершил свой героический поступок и показал пример, я думаю, что в самом деле так бы поступили многие школьники. Хотя для этого нужна,

конечно, настоящая храбрость.

Юра Дробот шел в школу и увидел, как из окна высокого нового дома валит дым. Он поднялся на четвертый этаж, где была квартира, в которой что-то горело, и стал звонить и стучать. Но ему никто не открывал. Тогда он вбежал на этаж выше и позвонил в дверь. В той квартире была только старушка бабушка — дети ушли в школу, а взрослые на работу.

Юра Дробот попросил у бабушки крепкую бельевую веревку, привязал ее к перилам балкона, спустился по веревке на четвертый этаж, выбил в двери на балконе стекло, открыл эту дверь и вошел в квартиру, полную дыма. Он пробрался через дым на кухню и увидел, что там уже горит стол, на котором забыли включенный электрический утюг. Юра залил стол водой и выключил утюг. А утюг, как потом выяснилось, даже не испортился — такие теперь делают хорошие утюги.

Вот за это Юру и наградили. И вполне заслуженно, потому что очень страшно, наверное, было ему спускаться с пятого этажа на четвертый и лезть в дым. Но он сказал, что сделал это, не дожидаясь ничьей помощи, потому что очень спешил.

Соседская бабушка сказала ему, что там, кажется, остался ребенок. И Юра испугался, что ребенок этот может сгореть в пламени или задохнуться в дыму. Поэтому, не ожидая старших, Юра бросился на помощь.

Весь зал смотрел на него во все глаза, как на героя, а он стеснялся. И действительно, ничего героического в его внешнем виде не было. Когда его фотографировала тетенька — корреспондент "Пионерской правды", она спросила, всегда ли он носит очки. По-видимому, она хотела, чтобы он снял очки, потому что в очках человек выглядит недостаточно героически. Но Юра сделал вид, что не понял ее намека, и ответил: "Да, всегда".

Интересно бы все-таки было посмотреть вблизи, какие часы ему подарили и какая на них выцарапана надпись. Теперь уже ни один учитель не сможет запретить Юре приходить в школу с часами. И, конечно, получить такие часы с надписью куда приятнее, чем подарок от мамы. Тем более, что мама не позволяет брать с собой в школу эти часы.

И я очень завидовала Юре, что он совершил такой замечательный поступок и так скромно себя ведет.

На перемене к нам подошел Женька Иванов. Я заметила, что лицо у Женьки как-то изменилось, и сразу не могла понять, что с ним такое, а потом сообразила: он выпячивал вперед нижнюю челюсть, чтобы быть похожим на Юру Дробота.

— Воля должна быть стойкой, твердой и гибкой, — сказал Женька. Действия настоящего волевого офицера являются решениями, основанными на трезвом учете реального положения и знании общей задачи...

— Ты что, с ума сошел? — спросила я. Женька Иванов поднес левую руку ко лбу, как козырек, а правой отдал честь и важно ответил:

— Так говорится о таких людях, как Юра Дробот, в книге "Офицер на войне".

Все наши мальчишки-пятиклассники помешались на военных книжках. Если в заглавии есть слово "война", они эту книжку готовы выучить на память. А вообще Женька стал "любимчиком" у Евгении Лаврентьевны. Хотя он и пятиклассник, она ему разрешает после уроков приходить в химический кабинет и делать там разные опыты вместе со старшеклассниками. Евгения

Лаврентьевна теперь, по-моему, разговаривает с Женькой Ивановым не меньше, чем с Витей, который начал ходить к ней в кабинет тоже с пятого класса.

Не знаю, как для других, а для меня звонок на урок всегда звучит по-разному. Очевидно, это зависит от того, на какой урок он зовет, готово ли у меня домашнее задание, не боюсь ли я, что меня вызовут. Сейчас звонок звучал весело и дружелюбно: у нас химия. Но Витя при этом звонке очень заволновался и покраснел. Евгения Лаврентьевна поручила ему сегодня сделать "сообщение". Она часто поручает ребятам подготовить "сообщение" — это значит короткий, десятиминутный рассказ о каком-нибудь химическом вопросе, который мы еще не изучаем, но который интересуется наших ребят. Витя сегодня должен рассказать о полимерах. О полимерах пишут во всех газетах и говорят по радио, а изучают их только в десятом классе.

Я всегда знала, что наш химический кабинет — самый лучший в мире. Но теперь я заметила в нем еще одну замечательную штуку. Я прежде на это не обращала внимания. Правда, я об этом никому не расскажу, потому что это тайна. Над столом Евгении Лаврентьевны висит большой портрет Менделеева. Если посмотреть на этот портрет, то, оказывается, в стекле видно все, что делается сзади. И пока я сижу на химии, я все время вижу Колю Галегу, который теперь снова сел за последний стол. А на других уроках и на переменах мы не смотрим друг на друга.

Когда наши ребята ссорятся, они иногда перестают разговаривать между собой. Из-за этого, когда Таня Нечаева поссорилась с Сережей, весь класс хохотал.

Сережа на перемене в присутствии Тани вдруг громко обращался ко мне:

— Оля, скажи Тане, чтобы она мне отдала "Таинственный остров". Я взял эту книжку у тети, а новый тетин муж говорит, что я ему разрознил все подписные издания.

Я говорила Тане:

— Отдай Сережину книжку.

Тогда Таня отвечала:

— Оля, скажи Сереже, что у меня есть свой "Таинственный остров" и пусть он ко мне не пристаёт.

Я говорила Сереже:

— У нее — свой "Таинственный остров"...

По-моему, Сережа никогда так много не разговаривал с Таней, как в те дни, когда они "не разговаривали" друг с другом.

Но мы с Колей разговариваем. Однако только по делу, когда занимаемся у Вити исследованием катализаторов.

Наши ребята любят слушать "сообщения". Особенно потому, что докладчика можно "засыпать". Можно задавать ему вопросы, а вопросы эти ребята потихоньку готовят заранее.

Витя стал за учительский стол, а Евгения Лаврентьевна села в сторонке у окна на стуле.

— Есть ли жизнь на Марсе? — сказал Сережа, но Лена Костина зашипела на него: "Оставь свои

шуточки!" — и Сережа замолчал.

Витя раскрыл и снова закрыл тетрадку, в которой он записал свое "сообщение", и начал рассказывать:

— Было время, когда ножи и другие вещи делали из камней. Такую эпоху называют каменным веком. Потом наступил бронзовый век, когда все делали из бронзы. Затем — железный, когда все стали делать из металла. А теперь наступил новый век — полимеров...

Я посмотрела в портрет Менделеева на Колю. Он сидел, опустив голову, и скручивал пальцами трубочку из промокашки.

— Уже на сегодняшний день, — продолжал Витя, все так же не заглядывая в тетрадь, — мировое производство полимеров в два раза больше выпуска меди, алюминия, цинка и других цветных металлов... Название "полимер" — от греческих слов "поли" — много и "мерос" — частица. В молекуле полимера много атомов. Как мы знаем, молекула воды состоит из трех атомов, а молекулы некоторых полимеров состоят из миллиона атомов...

Коля в портрете быстро раскрыл тетрадь и что-то в нее записал. Что он пишет? Может, он тоже сочиняет стихи?

— Самые распространенные полимеры — это пластмассы. Они имеют замечательные свойства. Есть, например, такая пластмасса — тефлон. Эту пластмассу называют химической платиной. Ее не могут разъесть самые сильные кислоты, она не горит и не меняется при очень низкой и очень высокой температуре...

"Тефлон, — подумала я и посмотрела на Колю. — Надо будет спросить у Вити, для чего его применяют". Витя заглянул в тетрадку.

— Шестерни из пластмассы прочнее стальных, а работают они бесшумно. Стеклопластик в два с половиной раза легче алюминия, но он прочный, как сталь. Из него делают лодки, катера и даже кузова для автомашин. Ну, про синтетический каучук и так все знают, а это тоже полимер... В строительстве из пластмасс готовят целые дома, в них и мебель, и окна, и двери — все из пластмассы. А водопроводные трубы из пластмассы не боятся мороза.

Коля оперся головой на руку и улыбнулся... Может быть, он представил себе окна, которые не разбиваются, когда ребята играют в футбол?..

— Промышленность выпускает очень много искусственного волокна из полимеров. Есть, например, такое волокно — нитрон. Оно лучше шерсти. Вот, например, из нитроновой ткани сделали костюм и целый год держали его под солнцем, под дождем, в снегу. Этот костюм мяли, мочили, сушили, а потом еще вывалили в грязи, нарочно облили маслом. После этого костюм постирали в теплой воде с мылом, и он стал как новый...

Я посмотрела в портрет Менделеева на Колю в стареньком свитере и подумала, что костюмы из нитрона прежде всего нужно делать для школьников, особенно для мальчишек — обыкновенная одежда у них очень рвется и пачкается.

— Из полимеров в медицине делают искусственные ребра, суставы и сухожилия, — сказал Витя. — Тонкие пластмассовые пленки заменяют в ушах поврежденные барабанные перепонки, а из пластмассовой трубки делают пищевод...

— А из пластмассового шара — голову, — подсказал Сережа, но Витя не растерялся и ответил:

— Если не верите — пощупайте Серезину. Но пластмассовая голова интересует только Серезу. А вот пластмассовая мышца может получиться в самом деле...

Я насторожилась. Неужели Витя собирался вот так, перед всеми, рассказать наш секрет? Но Витя рассказал только о том, что некоторые полимерные пленки под воздействием кислоты и щелочи растягиваются и сжимаются, как мускулы, и что ученым в будущем удастся создать машины, которые смогут работать при помощи таких пленок.

— Представляете себе, — сказал Витя, — робот, огромный, как дом. И у этого робота все мышцы, как у человека, только из полимерных пленок. И им можно управлять на расстоянии по радио. Такой робот возьмет лопату величиной с наш химический кабинет и будет работать, как экскаватор. Или, если надо будет проложить дорогу в лесу, он сможет выдирать деревья, как траву. Или, если застрянет в грязи автомашина, он возьмет ее на руки, как ребенка, и перенесет на дорогу...

Ребята здорово слушали Витю. И только Сереза сказал:

— Не хотел бы я поздороваться за руку с этим роботом. Всем было так интересно слушать про Витино робота, что ему почти не задавали каверзных вопросов. Только наша модница Таня Нечаева спросила, из чего делают нитроновую шерсть, и Витя, не задумываясь, ответил, что из ацетилена — газа, которым сварщики на стройках сваривают водопроводные трубы, и синильной кислоты.

Евгения Лаврентьевна от нашего имени поблагодарила Витю за интересное сообщение. На перемене ребята окружили Витю, который продолжал рассказывать про робота. Подошла к Вите и я. А Коля прошел мимо и даже не оглянулся в нашу сторону. Ну и пусть...

На последнем уроке у нас было домоводство. Для занятий по домоводству в школе специальный класс. Там две газовые плиты и буфет с посудой, а посреди комнаты — длинный стол. На уроке мы сидим по обе стороны этого стола, друг против друга.

Еще перед уроком я заметила, что Таня и Вера о чем-то перешептываются и что-то затевают, а когда мы расселись, поняла, в чем дело. Они устроили так, что я оказалась против Коли. Коля устался в стол, а они захихикали.

Наша учительница домоводства Миля Степановна — странная женщина. Она очень серьезно нас учит, как готовить разные блюда и сервировать стол, и шить, и все это она очень хорошо знает, но разговаривает она так, как будто в жизни не читала никаких книг. Вместо "регулировать" она говорит "легулиро-вать". Можно было бы подумать, что она просто не выговаривает этого слова, но это не так, потому что вместо "реагировать", она очень хорошо выговаривает "регулировать". Ребята ее любят. Даже мальчишки ходят на ее уроки и тихо сидят, хотя им домоводство учить не обязательно.

Сегодня у нас, по словам Миля Степановны, основной вопрос домоводства на Украине: как готовить вареники с творогом.

Все наши девочки принесли в школу по сырому яйцу, немного творога и муки. Миля Степановна засучила рукава и принялась за тесто.

— Смотрите, — говорила она, — в муке делается вот такое углубление, а в него наливают воду и сырые яйца...

До чего же красиво все это получалось у Миля Степановны! Толстая, румяная, веселая, она все

это показывала с таким удовольствием, и так ловко все у нее выходило, что нашим девочкам хотелось уже скорей самим приняться за тесто для вареников.

— А теперь поставим тесто ненадолго в холодное место, ну, вот хоть сюда, на окно, и возьмемся за творог...

Я посмотрела на Колю. Он сидел красный и растерянный, а перед ним лежал листок бумаги — какая-то записка.

Я хорошо умею читать книги или даже письма вниз головой. Вообще я сначала научилась читать наоборот, и мама меня долго от этого отучала. Когда мне было пять лет, мы жили в квартире с соседями, а у этих соседей была девочка, по имени Люба. Она была старше меня на год, а ее брат, Миша, уже учился в пятом классе. И он учил Любу читать по букварю. Во время этих занятий я всегда садилась против них и внимательно слушала. Но так как я сидела по другую сторону стола, то и запомнила все буквы вниз головой. Когда же выяснилось, что я не могу прочесть обыкновенной вывески, но бегло читаю детские книжки, если их повернуть наоборот, мама пришла в ужас и стала меня переучивать.

На листике бумаги, который лежал перед Колей, было написано:

Коля, давай мириться, потому что мне все это уже надоело. Я считаю, что мы оба неправы, а наша дружба должна быть выше всяких мелких обид. Если ты со мной согласен — ничего не говори, а только кивни головой. Оля.

Все это было написано почерком, похожим на мой, и даже такими словами, какие могла бы написать я сама, лишь в слове "мириться" был пропущен мягкий знак.

Коля посмотрел на меня и быстро закивал головой. Несколько раз подряд. Таня Нечаева прыснула.

— Это написала не я, — сказала я Коле. — Это написали девочки. Можешь не кивать.

Если бы Таня не засмеялась, может быть, я промолчала бы, и все хорошо бы закончилось. Но теперь и у меня и у Коли был отрезан всякий путь к отступлению.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Теперь, когда я иду по улице, или прихожу в школу, или сижу в классе, мне кажется, что все смотрят только на меня. И я стараюсь принять самый скромный вид, какой только могу. Я стараюсь даже не смеяться громко, когда хожу, не размахиваю руками и говорю меньше глупостей, чем прежде.

И все равно в моем присутствии ребята умолкают и поглядывают на меня с любопытством, а мне это — честное слово, правда — уже почти совсем не лестно, а только неловко. И учителя стали ко мне строже, и только Елизавета Карловна поставила мне четверку за сочинение, за которое она раньше выше тройки бы не поставила.

А на адрес школы на мое имя идут письма. Больше всего писем от школьников, но из Омска письмо мне написал старик кузнец, по фамилии Грозных, а из Новгорода-Северского какая-то учительница с неразборчивой фамилией написала, что я не должна зазнаваться достигнутыми успехами, а должна очень много работать над собой, как это делали Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Толстой.

Я спросила у папы, нужно ли мне отвечать на письма, и он ответил, что нужно. За всю свою жизнь я не написала столько писем, сколько за последнюю неделю.

Писать ответы на письма очень трудно. На диктовках в школе и в школьных сочинениях я никогда не боялась, что сделаю грамматическую ошибку, и всегда писала более или менее грамотно. Ну случится, пропущу букву или перед "что" не поставлю запятую. Но это бывает редко.

А вот в ответах на письма я очень боюсь сделать ошибку, и вдруг оказывается, что я не помню, как правильно писать самые обыкновенные слова, и я все время заглядываю в папин словарь.

Из Закарпатья я получила замечательную посылку. Народный художник Варна прислал мне письмо и подарок — портрет Тараса Шевченко, вырезанный на деревянной доске, покрытой черным лаком. Это называется гравюра по лаку, а вокруг деревянная некрашенная рамочка с резным гуцульским узором. Шевченко на этом портрете суровый и гневный, каким он был, наверное, когда писал о Петре Первом:

Це той первый, що розпинав
Нашу Україну...

Портрет Шевченко я повесила над своей кроватью и по утрам, когда просыпаюсь, первым делом смотрю на него.

Пришло на адрес школы из Новосибирска и письмо от моего родного отца. Он написал, что я молодец, что я замечательная девочка, что он гордится мной и ставит меня в пример своим детям, которые являются моими братьями, хотя я их никогда не видела. Зовут их Дима и Ростик, и, оказывается, они близнецы.

А папа недоволен всем этим и огорчен. Он говорил вечером с мамой, а я не спала и слышала из своей комнаты, что головы и покрепче моей не выдерживали внезапного успеха, что лучше бы все это произошло через десяток лет и что их ответственность за меня и мое будущее еще более повышается.

Но мама с ним, по-моему, не согласна, вчера она мне сказала, что я уже большая и могу носить часики куда угодно, даже в школу, только чтобы я их не разбила в драке. А "Литературную газету" с моими стихами она носит в сумочке и показывает всем знакомым.

В "Литературной газете" под названием "Доброго пути" была напечатана статья писателя Корнилова. Он написал о нашей встрече, о сказке, которую я рассказывала Наташке, и как Наташка сказала о нем "может быть, этот дядя садист", и о нашем разговоре про Шевченко, и про химию, и про стихи. Закончил он статью красивыми латинскими словами "Poetae nascuntur" — "поэты рождаются", и что я, Оля Алексеева, родилась таким поэтом, и что поэтическое время, в которое мы живем, помогло развиваться во мне моим задаткам, и что он предлагает вниманию читателей мои стихи.

И целых пять стихотворений. И фотография, на которой я выгляжу страшно испуганной, — ее сделали, когда я еще училась в шестом классе. Эту фотографию редакция, как я узнала, получила в школе. Честное слово, все это заняло почти половину газетной страницы.

Я уже читала стихи на школьном вечере, и меня пригласили прочесть свои стихи во Дворце пионеров и даже в Киевском педагогическом институте — перед будущими учителями.

И я читаю стихи и принимаю, как должное, аплодисменты и славу, делая самый скромный вид,

какой только могу, а внутри во мне все время страх, что я самозванка и что все это какая-то глупая ошибка.

Дело в том, что в нашей школе очень многие ребята пишут стихи и, по-моему, пишут их лучше меня. Они очень здорово умеют написать стихотворение к Первому мая, или к Октябрьским праздникам, или эпиграммы на учителей, а у меня это никогда не получалось. И я думаю, что любой из них может сказать: "Подумаешь, у меня стихи лучше, а на нее все смотрят так потому, что про нее написал в газете известный писатель Корнилов".

Но ведь и в самом деле, на мои стихи по-прежнему никто бы не обращал внимания, да я их почти никому и не показывала, если бы Павел Романович не написал про них в "Литературной газете".

А написал он про них потому, что встретился со мной в садике возле нашего дома и случайно заговорил со мной. Но, может быть, он просто не знает других детей, и у него нет своих детей, и он даже не догадывается, что очень многие ребята пишут стихи, и поэтому его удивило, что я их пишу, и поэтому они ему так понравились?.. И как вообще попал он в наш садик?..

Я пошла в садик и села на ту самую скамейку, на которой мы тогда сидели, только не на то место, где сидела я с Наташкой, а на то место, где сидел писатель, и стала представлять себе, почему он там сидел.

Я представила себя на его месте и посмотрела перед собой и вдруг увидела то, на что я прежде не обращала внимания. То есть я видела это каждый день, но как-то по-другому.

Я увидела огромный новый дом, облицованный кремовой плиткой, со множеством балконов. И каждый балкон — это значит квартира, и в каждой квартире люди, которые очень любят друг друга, но все равно часто не понимают друг друга и ссорятся из-за всяких пустяков.

На одном из балконов была сделана как бы стеклянная клетка, как бы закрытая стеклянная веранда вместо балкона, и там стояло кресло, и сидел на нем какой-то дяденька с круглым лицом и усами. Я и прежде его всегда там видела, но никогда не задумывалась: а почему он там сидит. Вероятно, он болен? Но чем? Может быть, у него парализованы ноги? Может быть, нужно пойти в эту квартиру и узнать, что с ним? Может быть, ему нужны книги или еще что-нибудь? И, может быть, писатель заметил этого человека, сел на скамейку и задумался о нем?

А на другом балконе висит белье — простыни, пододеяльники, наволочки. Ветер их надувает, они трепещут под ветром, как паруса, и кажется, что сейчас вот-вот оторвут балкон от дома и понесут его по воздуху. И, может быть, писатель представил себе, как задрожал и помчался балкон.

А внизу гастроном. Из дверей гастронома вышла старушка с двумя тяжелыми мешками, связанными между собой, И один у нее впереди, а другой сзади, за спиной, вернее, за плечом. По виду старушка — крестьянка, вероятно, приехала она в город, чтобы купить разных товаров, гостинцев внукам. Но мимо проходят новенькие автомашины, и троллейбусы, и небо расчертил реактивный самолет, а старушка тянет свои мешки на себе, как сто лет назад. И, может быть, писатель заметил такую же старушку, и присел на скамейку, и задумался об этом?

Я вернулась домой и написала Павлу Романовичу письмо, в котором рассказала ему о своих сомнениях и попросила написать мне, почему он сидел на скамейке в нашем садике.

Я очень испугалась, что потеряла адрес Павла Романовича, во потом вспомнила, что спрятала его адрес в "Кобзарь". Я нашла записку с адресом и надела конверт.

"А если бы просто написать на конверте: "Москва, писателю Корнилову", дошло бы письмо?" — подумала я. И решила, что дошло бы. Такой это писатель.

И еще я думала о том, что, конечно, случайность имеет значение. Не только для меня. Когда Юра Дробот шел по улице, он случайно оказался против того дома, из окон которого валил дым. Но то, что он спустился по веревке на балкон, нельзя ведь считать случайностью. Или то, что Колиного дедушку, отца Елены Евдокимовны, расстреляли фашисты, может быть случайностью, хотя он спас раненого, а фашисты за это расстреливали. Но то, что Елена Евдокимовна была санитаркой и вынесла на себе столько раненых солдат из боя — это уже не случайность. Это — ее героизм. Так что нельзя все объяснять одной случайностью.

На почте тетя, которая принимает письма, сказала, что для авиа заказного нужно еще доплатить шесть копеек. Она не обратила никакого внимания на то, кому я посылаю письмо, что на конверте написан адрес писателя, и дала мне квитанцию — узкую полоску бумаги, на которой было написано только: "Москва. Корнилову" — совсем как я сначала собиралась написать на конверте.

А когда я возвращалась, из двора соседнего дома неожиданно выскочили Петька и тот новый мальчик, которого я ударила портфелем.

— Вот она! — сказал Петька.

Я приосанилась, потому что за последние дни часто слышала, как в школе обо мне говорили: "Вот она!" — но Петька подскочил ко мне и больно дернул меня за косичку, а второй мальчишка ударил меня сзади коленкой так, что я просто полетела вперед.

Они ничего не слышали о том, что мои стихи под заголовком "Доброго пути" напечатали в "Литературной газете", а если и слышали, то им на это было совершенно наплевать.

И так как их было двое, а я одна, то я бросилась наутек, а они бежали за мной и кричали, что "покажут мне", но они меня не догнали, а я вбежала в свой двор, где, к счастью, были Витя, Сережа и Женька Иванов. Это мне просто повезло.

У Сережи в руках были лук и стрелы.

— Послушай, Оля! — обрадовался он. — Хочешь быть нашим Вильгельмом Телем?

— Каким Вильгельмом Телем?

— Ну, мы тебе поставим на голову яблоко, и кто собьет его.

— Нет, — сказала я, — не хочу. Вы мне глаза выбьете.

— Боишься?

— Не боюсь, а не хочу.

— С тех пор как ее фотографию и стихи напечатали в газете, — сказал Витя, — она стала воображалой... Можно ведь закрыть глаза руками или стоять к нам спиной.

Если бы он не напомнил о моих стихах, я бы, конечно, отказалась, но теперь я сказала:

— Ну хорошо, я стану спиной.

Они положили мне на голову яблоко и стреляли в него до тех пор, пока не попали мне больно по шее. В яблоко они так ни разу и не попали.

Когда я возвращалась домой, я посмотрела вверх на балкон, сделанный в виде стеклянного аквариума, где всегда сидел в кресле усатый дяденька, и вдруг увидела, что рядом с креслом стоит стул, а на стуле сидит Коля.

Я сначала даже не поверила своим глазам, но это действительно был Коля — в пальто, из которого он вырос, в мятой шапке и с красным шарфом на шее. Как он туда попал? Откуда он знает этого дяденьку? Что он там делает?

Я несколько раз оглядывалась на Колю, и мне показалось, что он меня тоже заметил.

В нашем классе учатся странные люди. Никто не удивляется, что Коля Галега теперь хорошо учится. Будто бы так и нужно. И по-прежнему его называют Самшитиком, но он ни на кого не обижается, почему-то только на меня...

Правда, он на днях получил двойку по физике. Но я не ощутила никакого злорадства: двойку он получил не потому, что не знал, а совсем за другое.

Борис Борисович задал всем приготовить дома прибор или механизм, который показывал бы, как действует трение. Я принесла кусочек наждачной бумаги и палочку. А Коля сделал реактивный автомобиль. Он где-то нашел старый игрушечный автомобильчик, привязал к нему проволокой трубку от металлической ручки (есть такие ручки, в которых с двух сторон перо и карандаш) и начинил трубку серой от спичечных головок.

— Как же он действует? — спросил Борис Борисович.

— Нужно поджечь, — сказал Коля. — Можно?

— А что в трубке?

— Спичечные головки.

— Что ж, поджигай.

Автомобильчик поставили на учительский стол. Борис Борисович сам поднес к трубке горящую спичку. Зашипело, забрызгало пламя, и автомобильчик покатился по столу. Но когда Борис Борисович увидел, что на черной лаковой поверхности стола образовалась пузырчатая дорожка прогоревшего лака, лицо у него приняло какое-то по-детски обиженное выражение.

— Это ты нарочно подстроил, — сказал он Коле и поставил ему двойку.

Сережа уверял потом, что Борис Борисович отнес автомобильчик в учительскую и предложил его передать на автозавод, чтобы там начали выпускать настоящие автомашины такой конструкции. Сережа ловко выдумывает такие истории.

Коля по-прежнему делал вид, что не замечает меня. Но когда на переменке наша завуч пришла с какой-то кругленькой и быстрой, как шарик ртути, тетей и подвела ее ко мне, и тетя стала быстро — не уследишь, как у нее выкатываются слова, — хвалить меня, говорить, что я замечательная девочка, что институт литературы, в котором она работает, приглашает меня выступить у них со своими стихами, и я оглянулась на Колю (он стоял недалеко, и мне хотелось посмотреть, какое это производит на него впечатление), Коля поежился, как от холода.

А когда завуч и эта тетя ушли, он подошел ко мне и, не вынимая рук из карманов брюк, сказал:

— Ну зачем ты их слушаешь? Ведь они на тебя смотрят, как на ученую собаку... Если бы собака начала говорить, на нее так же смотрели б... Я видеть не могу, какая ты стала... Как ты смотришь по сторонам, замечают ли, что ты идешь... Как прислушиваешься к каждому слову, когда тебя хвалят. Мои батя и матя ничего не поняли. Они говорят: вот она какая! Портрет в газете напечатали! Стишки пишет! И такая скромница! А мне стыдно было им правду сказать, потому я и промолчал и не сказал им, что ты просто дура...

Я посмотрела на Колю. Свет из окошка отражался в его прищуренных, как от боли, глазах.

— Ты сам дурак, — сказала я и пошла на урок, потому что прозвенел звонок.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда я собираюсь что-нибудь сказать некстати, я перед тем говорю слово "кстати", и то, что я собиралась сказать некстати, получается будто бы кстати.

— Кстати, — сказала я, — а что такое в самом деле счастье? Папа не удивился моему вопросу, хотя мы разговаривали совсем не о счастье, а о том, что если я не пойду к зубному врачу и не вставлю пломбу, то у меня зуб совсем разрушится, и что бормашина напоминает орудие пытки.

— Ну, — сказал папа, — как сказать... Очевидно, под счастьем понимают состояние полного удовлетворения... Ну, благополучие, жизнь без горя, без несчастий, без тревог.

— А как же, — возразила я, — наши космонавты?.. Нельзя же сказать, что у них жизнь без тревог... Они летают на ракетах и рискуют собой для того, чтобы человек освоил космос. И когда мы учили Лермонтова, стихотворение "Парус", так в нем сказано будто про парус, а в самом деле про человека: "А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!"

— Это правильно, — сказал папа. — Счастье не может быть индивидуальным, как зубная щетка. Оно не может принадлежать одному человеку. Поэтому за счастье людей людям приходится бороться и иногда находить это свое счастье в борьбе, а совсем не в жизни без тревог...

Вчера папа дежурил "свежей головой", а сегодня, в субботу, мы с ним отправились в поход по магазинам хозяйственных товаров. Папа говорит, что в продаже появился какой-то новый консервный нож, которого еще нет в его коллекции. Этим ножом можно открывать стеклянные консервные банки, не повредив крышечки, что очень ценно для домашних хозяек, которые готовят самодельные консервы.

— Тебе не понравился мой фельетон? — сказал папа, по-своему расценивший мой вопрос.

Позавчера в газете был напечатан папин фельетон "Маленькое счастье". В нем рассказывалось о начальнике главка, по фамилии Костенко. Этот человек для своего "маленького счастья" обманывал, давал неправильные сведения о выполнении плана, а людей, которые выступали против него, он увольнял с работы. Одна пожилая женщина покритиковала его на собрании, так он, этот Костенко, сумел все так подстроить, что она попала под суд, и ее посадили в тюрьму, а потом, когда ее выпустили, она очень тяжело заболела. У этой женщины были дети и даже внучка.

Этот папин фельетон был совсем не остроумный, а какой-то очень сердитый и резкий, в

каждом слове чувствовалось, что папа просто ненавидит этого Костенко.

Еще когда папа только собирался писать фельетон, я вечером слышала из своей отгороженной занавеской комнаты разговор мамы с папой. Мама говорила, что на таком фельетоне можно поскользнуться, что она лично знает Костенко, что это опасный человек, которого уже пытались разоблачить, но он вышел сухим из воды, а люди, которые выступали против него, напрасно пострадали.

Но папа ответил, что он все равно выступит в газете. Тогда мама сказала, что он еще пожалеет, что не послушался ее, а папа сказал, что молчать было бы преступлением.

— Нет, — ответила я, — фельетон мне понравился... Только он какой-то не смешной, а страшный.

Не глядя на меня, папа сказал:

— В таких случаях мне не хочется смеяться...

Мы побывали уже в четвертом магазине, а такой консервной открывалки, какая нам была нужна, нигде не было. В предпоследнем магазине продавщица сказала папе, что такой ключ ни к чему, потому что крышечки все равно деформируются, и что в будущем году промышленностью намечено выпускать больше крышечек. А папа, по-видимому, постеснялся ей сказать, что ему открывалка нужна не из-за крышечек, а из-за коллекции. Вообще папа был сегодня не таким, как всегда после дежурства, он вроде бы и шутил, и смеялся, и все равно все время думал о чем-то своем, и о чем-то своем нехорошем, и я не знала, о чем.

Пока мы ходили по магазинам и рассматривали холодильники, и стиральные машины, и кухонный комбайн, который сам чистит картошку и выжимает сок из всего, что бы туда ни сунули, пошел сильный снег, густой, хлопьями настоящая метель. Мы побежали к троллейбусу, потому что папа был без шапки. В троллейбусе было совсем мало людей, мы с папой сели рядом на сиденье, а за окнами снег сыпал так густо, что ничего не было видно, кроме снега. Все было скрыто белой пеленой, и троллейбус вдруг остановился. Водитель сказал, что впереди стоят другие машины и не видно, куда ехать.

Троллейбус стоял, а снег сыпал все сильнее и сильнее, снежными хлопьями залепило окно, и я вдруг представила себе, что сейчас будет такой снегопад, что троллейбус занесет доверху, с крышей, что весь наш город занесет снегом. А когда-нибудь, через тысячу лет археологи откопают наш троллейбус и напишут ученый труд о том, что в те далекие времена, когда мы жили, существовали громадные животные, которые питались людьми, и что при раскопках в желудке такого животного с двумя усами на спине нашли скелеты нескольких человек. Мне стало неприятно, и я сказала папе:

— Может, выйдем?

Но троллейбус тронулся, и снегопад вдруг утих, проглянуло солнце, и город засверкал, заискрился, а на снег бросились тысячи людей и машин, чтобы сгрести его с улиц и вывезти за город.

Вдоль всех улиц потянулись узенькие ледяные дорожки, которые в два счета успели раскатать ребята. В Киеве такие дорожки называются сколзанками, и я не знаю, как их называют в других местах. Мы с папой по очереди проехали по одной такой длинной сколзанке, а потом вернулись и снова проехали, а потом еще в третий раз. На третий раз папа разбежался сильнее, чем я, налетел на меня и сбил с ног. И когда я упала, а он — вслед за мной, на него

сердито закричал прохожий с очень знакомым голосом:

— Что вы делаете!.. Как вам не стыдно!..

Я увидела, что это наш учитель математики Климент Ефремович. Папа стал меня поднимать, а я сказала Клименту Ефремовичу:

— Это мой папа.

Климент Ефремович очень удивился и сказал, что сколзанки нужно обходить, потому что можно сломать ногу. И мы с папой, смущенные и мокрые от снега, отправились домой — сушиться.

Но пока мы с папой ездили за этой открывалкой для стеклянных банок с железными крышечками и катались на сколзанке, в нашей жизни произошло очень важное событие. И произошло оно без меня.

Как только мы с папой подошли к нашей двери, мы увидели, что к ней кнопкой прикреплена записка: "Оля, когда вернешься, бегом ко мне получилось!!! В."

— Я сейчас, — сказала я папе и, не заходя домой, помчалась к Вите.

Я застала у него всю нашу компанию, в том числе Колю и Лену.

— Где ты ходишь? — сказал Витя. — Пленка сокращается, как настоящая мышца, почти на сантиметр. Мы измеряли.

— Как это вам удалось? — спросила я, с завистью рассматривая незамысловатый прибор, сделанный из ванночек для проявления фотографий. Их называют кюветами.

— Это мы с Сережей, — сказал Витя. — Ну и Коля помог. И все остальные, конечно, — добавил он великодушно. — Папа говорит, чтоб мы отдали наш прибор в школу Евгении Лаврентьевне. Он говорит, что такой прибор может украсить любой химический кабинет.

— А как же птицелет?

— Будет и птицелет... И даже робот... Когда-нибудь, — ответил Витя. Важно, что доказана принципиальная возможность. Папа говорит, что когда Кибальчич — это был такой революционер, его казнил царь, — когда Кибальчич в тюрьме начертил проект ракетного двигателя, так он еще тоже был совсем не похож на те ракеты, какие сейчас возят на парадах.

Коля не смотрел на меня, пальцы у него пожелтели от реактивов, а лицо совсем не выражало той радости, какая подходила для такой минуты.

— Папа говорит, — сказал Витя, — что Евгения Лаврентьевна всем нам поставит четвертные пятерки. Такого прибора нет ни в одной школе во всем мире.

— А мне? — спросил Женька Иванов и надул губы. — Ведь мы не учим химию. За что же мне поставят пятерку?..

— За поведение, — сказал Сережа. — Тебе поставят пятерку за благородное поведение и снизят ее до тройки за то, что ты прожег кислотой свои форменные штаны.

Сережа стал рассказывать о том, как мы сделаем небольшой птицелет, как Женька на нем

будет летать в школу. Все смеялись, и даже Коля разошелся и сказал, что будет посылать вместо себя в школу робота. А я вспомнила папу и как он молча сидел в троллейбусе с залепленными снегом окнами, и мне захотелось домой.

Кроме того, у меня в голове все время вертелись строчки, которые складывались в новое стихотворение. Я пошла домой, но по дороге зашла в садик, подошла к скамейке, где мы сидели с Наташкой и писателем Корниловым, и придумала это стихотворение до конца.

Дома я застала и папу и маму. Перед моим приходом они, по-видимому, о чем-то спорили, потому что лица у обоих были точно такие, какие бывают у наших ребят, когда они ссорятся. Но когда я вошла, они заговорили на спокойную тему — о консервных ножах.

Я сказала, что хочу прочесть им новое стихотворение, которое сегодня написала. Но я его не записывала на бумаге, а просто прочла наизусть:

Улицы розданы
Детям, словно клад.
Тянутся скользянки
От угла до угла.
Детям кататься
Не надоест,
А взрослые боятся
Скользких мест.
Не пришлось бы каяться...
Асфальт шершав
К асфальту тянется
Их душа.
А может, доверимся
Гладкости льда?
Давайте проедемся!
Проедемся? Да!
Только и сегодня
Учитель мой
Скользянки обходит
Стороной.

Папа и мама переглянулись. Мама сказала:

— Неужели это ты сама придумала?

— Конечно, сама.

— Молодец! — похвалила меня мама.

А папа сказал, что не все взрослые боятся поскользнуться, и снова многозначительно посмотрел на маму.

Мы собирались ужинать, но в это время папу по телефону вызвали в редакцию. Мама встревожилась, но папа сказал, что, очевидно, предстоит какая-то срочная командировка.

Мама проводила папу до двери. Они почему-то шли к двери, держась за руки, как ходят первоклассники на экскурсию. А когда мама вернулась, она сказала мне, что завтра мы с ней пойдем в бассейн.

Я очень люблю плавать. Плавать меня научила мама, когда мне было лет пять, еще до школы. Мама прекрасно плавает, у нее первый разряд, и она только немного не дотянула до нормы мастера.

Я, как и мама, плаваю брассом — это стиль не такой быстрый, как кроль, но при брассе не так устаешь, и я могу проплыть сколько угодно. Этим летом мы с мамой и папой были в Крыму. Я с мамой плавала почти за полтора километра и ничуть не уставала. Я все время держу голову под водой и приподнимаю лицо, только чтоб вдохнуть воздух. И глаза у меня все время открыты. Я не смогла бы плавать с закрытыми глазами, как не смогла бы, например, ходить с закрытыми глазами по улице. А папа плавает кролем, быстро устает и часто ложится на спину.

Мы с мамой поговорили о плавании, о том, что летом опять поедем в Крым или на Кавказ, но обе мы думали о папе и ждали его возвращения.

Папа вернулся нескоро. Но когда он пришел, он так хлопнул дверью и так размахивал руками, что мне показалось — он пил водку.

— На фельетон пришло опровержение, — сказал папа, усевшись на тахте. Из министерства. С подписью самого министра. И газета должна будет, — тут папа помолчал, подняв палец, — опубликовать это опровержение. А мне предложили подать заявление об уходе с работы. По собственному желанию...

Я думала, что мама скажет: "Я ведь говорила". Но вместо этого мама села рядом с папой на тахту, провела рукой по его растрепанным, повлажневшим волосам и улыбнулась весело и задорно.

— Молодец! Я горжусь тем, что ты написал этот фельетон! И Лялька тоже. Мы говорили с ней об этом, когда тебя не было.

А ведь мы ничего подобного не говорили.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Если бы меня поставили во главе Советского правительства, то первое, что бы я сделала, это запретила бы посыпать опилками пол в магазинах. В разных статьях пишут, что из опилок можно делать лучшие вещи, чем из дерева, что они ценное сырье для химической промышленности, а их рассыпают под ногами, топчут, а потом выбрасывают. Я не жадный человек, по, когда я хожу по опилкам, я не могу понять, почему с ними поступают так бесхозяйственно.

Я стояла в нашем гастрономе в очереди в колбасный отдел. Очередь была довольно длинной. В этом магазине всегда к шести часам — к концу рабочего дня — собирается много покупателей, а днем, часа в два-три, тут бывает совсем пусто. Я много раз думала, что нужно ходить в гастроном днем и не тратить времени напрасно, но все как-то не получалось.

Я стояла в очереди и рассматривала мокрые и грязные опилки под ногами, а передо мной стоял тот самый дяденька с усами, который всегда сидел на балконе, устроенном как стеклянная клетка. Дяденька опирался на очень толстую, но, по-видимому, легкую бамбуковую палку с черной ручкой.

Сквозь очередь протиснулись два высоких, одинаково одетых парня — оба они были без шапок, в очень коротких красивых пальто с вязаными в резинку воротниками, как на свитерах, на

обоих пушистые красные шарфы и черные узконосые туфли.

— Не давайте без очереди! — потребовала у продавщицы толстая пожилая женщина. Она стояла впереди нас.

— Не горячитесь, тетенька, наживете третий инфаркт, — отмахнулся от нее, как от мухи, один из этих парней, такой высокий, что его можно было принять за баскетболиста из сборной Украины, и протянул через головы чеки продавщице. — "Столичную" и четыреста любительской. Нарезьте потоньше.

— Не отпускайте без очереди! — снова закричала толстая женщина. — Мы тоже спешим. За водкой можно и постоять...

— Станьте в очередь, — предложила продавщица тетя Вера. — Слышите, что про вас говорят...

— Как не стыдно, — тоненьким, но звонким голосом пропищала старушка, которая стояла за нами.

— Ты, бабушка, не вмешивайся, — басом сказал второй парень. — Когда будет очередь на кладбище, там будешь распоряжаться.

— Зачем же вы оскорбляете женщину, да еще такую, что вам в матери годится! — возмутился усатый дяденька из нашего дома.

Нагрубивший старушке парень подошел к нам поближе, наклонился к дяденьке и что-то негромко, с угрозой сказал ему на ухо, очевидно, что-то гадкое, потому что я услышала плохое слово. И вдруг парень этот завизжал и не басом, а совершенно детским голосом — громко, на весь магазин, и запрыгал на одной ноге к концу очереди. А за ним отошел от прилавка и его товарищ. Вид у обоих был растерянный, они негромко бормотали какие-то угрозы.

В первую минуту я, как и все остальные, не сообразила, что произошло, хотя и видела, как усатый дяденька легонько опустил свою палку на самый кончик острого носка туфли этого парня, но мне и в голову не пришло, что именно этим был вызван такой странный визг.

— "Вот злонравия достойные плоды", — подмигнул мне дяденька.

— Что это у вас за палка? — спросила я.

— Волшебная, — ответил дяденька и протянул ее мне. Я взяла палку в руку и еле смогла удержать — она была в тысячу раз тяжелее, чем могло показаться по ее внешнему виду. — Это бамбук, заполненный внутри свинцом.

— Для чего же свинец в палке?

— Вместо зарядки. Заведи себе такую же, и ты справишься с любым пареньком из своего класса.

— Вы Колю Галегу знаете? — неожиданно для себя спросила я у дяденьки.

— Колю Галегу? Кто же не знает Колю Галегу? Это известный человек, снова подмигнул мне дяденька так, будто он про меня все знал.

Тем временем подошла наша очередь. Дяденька купил двести граммов голландского сыра, а я купила целый килограмм украинской домашней колбасы и еще полкилограмма венгерского

сала, покрытого коркой жгучего красного перца. Мы вышли из магазина вместе с дяденькой и прошли мимо парней в коротких пальто, но они сделали вид, что нас не замечают.

— Ты решила потолстеть? — спросил дяденька.

— Нет, — ответила я, — это охотничьи припасы.

— А ты охотник?

— Да.

— И умеешь стрелять?

— Да, — сказала я менее уверенно.

— Ну что ж... Тогда — ни пуха ни пера.

— До свидания, — ответила я, вместо того чтобы сказать "к черту", как обычно отвечают в нашем классе на такое пожелание, и пошла домой.

Дома мама угощала какую-то очень толстую тетеньку в туго обтягивающем ее фиолетовом креп-сатиновом платье, из которого она выросла, чаем с домашним пирогом, а тетенька говорила, что она не ест теста, что боится потолстеть, хотя, по-моему, ей уже можно было не бояться, и ела пирог ломоть за ломтем, а папа скучным голосом говорил, что фотоаппаратом "Комсомолец" с очень примитивным объективом можно делать превосходные снимки, и показывал фотографии.

После того как папу уволили с работы в редакции, к нам стало приходиться очень много людей, которые прежде к нам вообще не заходили или приходили очень редко. А так как каждому нужен был какой-нибудь предлог, то наша коллекция консервных ножей пополнилась интересными экземплярами, среди которых был прекрасный японский нож. Папа уверял, что этим ножом открывали консервы японские самураи, а при случае именно таким оружием они делали себе харакири.

Папин заведующий отделом Дмитрий Максимович и его жена Вера Сергеевна приходили к нам чуть ли не каждый вечер. Дмитрий Максимович в глаза хвалил папу и успокаивал маму, говорил, что это — недоразумение, что справедливость восторжествует и папу восстановят на работе, и при этом, мне кажется, он себя перед папой чувствовал как-то неловко. Вероятно, ему было стыдно, что папу уволили с работы за правильный фельетон и папа этим так расстроен, а у него все благополучно. Я это вполне понимаю. Мне было так же стыдно, когда я получала по физике четверку, а Коля — двойку, хотя мы учили вместе и знали одинаково. Взрослые играют в те же игры, что и дети.

На воскресенье Дмитрий Максимович пригласил папу на охоту. Я посмотрела на Дмитрия Максимовича. Он молчал. Потом я посмотрела на папу. Папа тоже помолчал, подмигнул Дмитрию Максимовичу и сказал:

— Оля, выйди на кухню. Мы тебя позовем.

Я поплотнее закрыла двери, чтобы не было слышно, что они говорят, потому что не хотела подслушивать. На кухне я съела немного мытого изюма, который мама собиралась положить в пирог, но когда он мытый — он не такой вкусный. Папа позвал меня в комнату.

— Ну, так и быть. Выклянчила. Поедешь с нами, — сказал он ворчливо.

Я только посмотрела на него, и это уже называлось "выклянчила"!

А Дмитрий Максимович добавил:

— Но запомни, Оля! Это первый случай, когда я беру с собой на охоту особу женского пола.

По правде говоря, я была уверена, что все эти разговоры ничего не стоят, потому что мама не позволит мне поехать на охоту. Но я снова убедилась в том, что никогда нельзя предусмотреть, как поступит мама в том или в другом случае. Она сказала, что это очень хорошо, что я мало бываю на воздухе, и единственное, о чем она просит, это только чтобы мы с папой не перестреляли друг друга и не простудились.

Для того чтобы я не простудилась, были проведены большие мероприятия. Мама заставила меня надеть ее теплые ботинки, а так как у меня тридцать четвертый номер обуви, а у нее тридцать шестой, то я надела на каждую ногу по два шерстяных носка. Кроме того, на мне были две шерстяные кофточки и еще столько всякого другого белья, что я стала в два раза толще, чем была, и еле влезла в свое куцее старенькое пальто.

Мы выехали в семь часов вечера в субботу в маленьком автобусе, который Дмитрий Максимович называл странным словом "микробус". Нам предстояло проехать в нем почти 250 километров. Кроме водителя и нас, в автобусе был еще один человек — военный генерал в папаше с красным донышком. И мне было очень приятно, что я еду с генералом, потому что я еще никогда вблизи генералов не видела. Генерал поздоровался с папой и спросил, как меня зовут. Я почтительно ответила, что Олей, генерал сказал, что это хорошо, сел рядом с водителем и заснул.

Я села возле папы, по автобусу взад и вперед сновали вещи, которые мы взяли с собой. Сильно трясло, и было очень тепло, даже жарко, я тоже, как генерал, заснула, и этот мой сон напоминал бег с препятствиями, я просыпалась от каждого толчка и снова засыпала.

И снился мне странный сон, который все время обрывался и все время возвращался к началу, и каждый раз по-другому, каждый раз по-другому, и все — очень плохо.

Папа недавно говорил, что в газете было сообщение о том, что писатель Павел Романович Корнилов поехал в США во главе какой-то культурной делегации. И мне снилось, что это мы с Павлом Романовичем едем на машине на охоту в Америке и что он мне говорит: "А твой папа негр, и расисты облили его бензином и подожгли". И я хочу спросить: кто негр, папа или мой родной отец, но почему-то не решаюсь, и вот я в окне машины вижу, как горит человек, и он стоит ко мне спиной, и я не могу отличить, кто это — папа или мой родной отец, а машина мчится, и я хочу крикнуть: "Остановите!" — и не могу, и слова застревают у меня в горле.

А потом мне снилось, что ничего этого не было, а это мы с папой едем по Америке в машине на охоту, но машина вдруг сворачивает к какому-то небоскребу, и я спрашиваю у папы: "Разве в небоскребах охотятся?", а папа отвечает: "Нет. Мы едем не на охоту, а в этот небоскреб, потому что там много коридоров и комнат, и в нем можно заблудиться, как в лесу, и я тебя там оставлю, потому что меня уволили с работы, я не зарабатываю денег, и мне тебя нечем кормить, и тебя там съедят волки". И я хочу попросить: "Папа, пожалуйста, не оставляй меня, я тоже буду, как ты, работать, буду делать из ниточек авоськи, я уже умею". Но я плачу и не могу сказать ни слова...

А потом мне снилось, что это мы с мамой едем на охоту по Америке, и мама говорит: "Неволя

пуще охоты", а я хочу сказать, что "Охота пуще неволи", но мама отвечает: "Нет, неволя". И я вдруг понимаю, что это мы едем не на охоту, а это мама везет меня к моему родному отцу, и я хочу крикнуть: "Папа, папочка, помоги!" — но только мычу.

А потом мне снова снилось, что ничего этого не было, и снова снился Павел Романович, но так плохо, что об этом даже нельзя рассказать, и все время мне снилось черт знает что...

Только глубокой ночью мы приехали в село Турье, а потом еще долго искали какого-то Тиму. Этот Тима — знакомый Дмитрия Максимовича — повел нас ночевать к себе в хату. В хате пахло чем-то острым — не уксусом и не перцем, а чем-то похожим, и освещалась она маленькой керосиновой лампой, огонек в которой поднимался и коптил, как только открывали дверь. Мы поужинали и очень много ели, а взрослые пили водку и разговаривали с Тимой о завтрашней охоте, и генерал после каждой рюмки краснел и важно спрашивал, есть ли зайцы.

Я так устала, что у меня слипались глаза. Нам постелили на полу солому и накрыли ее сверху шерстяными цветными половиками. Как только мне показали, где можно лечь, я сразу легла и заснула.

Утром меня разбудил папа. Было еще совсем темно, и мы все по очереди умылись в сенях холодной водой из маленького умывальника и сели завтракать.

Генерал переоделся — надел обыкновенный старенький ватник и сразу стал похож не на военного, а на простого суетливого старичка. Все-таки форма имеет большое значение. Интересно, как бы выглядели наши учителя, если бы надели генеральскую форму? Только теперь я решилась спросить у генерала, как его зовут, и он сказал, что у него редкое имя — Иван Иванович.

Наш хозяин, которого все звали Тимой, был совсем уже немолодым человеком, и разговаривал он на каком-то странном языке, на какой-то смеси русского с украинским, и мне его было понять значительно труднее, чем если бы он говорил просто по-украински или по-русски. Дмитрий Максимович после сказал, что это местный говор "суржик", что словом "суржик" обозначают смесь пшеницы с рожью, а также такой смешанный язык.

Когда говорили другие, этот дядя Тима, казалось, без всякого повода, вдруг подмигивал окружающим и восторженно восклицал: "От даеть!", "От даеть!" — так он прореагировал на то, что папа сказал, что у него во фляге коньяк, и что Дмитрий Максимович сказал, что я тоже буду охотиться, и что наш водитель сказал, что нужно будет достать бензина. И я уже стала подозревать, что в словах и папы, и Дмитрия Максимовича, и водителя был еще какой-то неизвестный мне смысл, но когда на мой вопрос, будет ли у меня ружье, дядя Тима тоже воскликнул: "От даеть!" — я поняла, что это у него просто такая странная привычка.

Дядя Тима был егерем, и мне было очень приятно, что я разговаривала не только с живым генералом, но и с живым егерем.

А ружье мне дали в самом деле. Принес его дядя Тима. "От даеть!" сказал он, когда я осторожно взяла его в руки.

Это было одноствольное ружье. У всех были двуствольные ружья, и только мне дали одноствольное. Но когда я спросила, где второе дуло, папа сказал, что и одного для меня вполне достаточно, а может быть, даже и слишком много.

Дмитрий Максимович предупредил меня, что на охоте я все время должна быть рядом с ним, что не имею права отойти от него даже на шаг и что он меня научит стрелять из этого

одноствольного ружья, а патроны он мне даст свои, потому что у нас с ним ружья одного калибра. Дмитрий Максимович мог бы снабдить патронами всех охотников — он был обвешан патронташами, как матросы — герои гражданской войны.

Мы с Дмитрием Максимовичем вышли за хату, и я там два раза выстрелила в сарай. Я очень боялась отдачи, о которой меня предупреждали и папа и Дмитрий Максимович. И первый раз меня сильно ударило в плечо, а второй раз я крепче прижала приклад, и меня ударило слабее. Дмитрий Максимович сказал, что это закон Ньютона, что действие равно противодействию, но я в этом пока не разобралась, потому что, по его словам, получилось, будто бы, с одной стороны, дробь летит в зайца, а, с другой стороны, ружье летит в охотника.

Охота состояла в том, что мы поехали на своем "микробусе" в лес, где дядя Тима расставил охотников в цепь, каждого друг от друга на расстоянии примерно в сто метров, а с другой стороны на эту цепь должны были гнать зайцев другие охотники — односельчане дяди Тимы.

В лесу снега было мало, а на деревьях рос мох, и я собрала целую кучу этого мха, чтобы привезти его маме и ребятам, а вокруг была такая красота, какой я даже не воображала и не представляла себе никогда в жизни, что это такая неопишуемая красотища. И в сердце у меня даже что-то словно звенело. Я стояла под деревом на лесной просеке рядом с Дмитрием Максимовичем и смотрела по сторонам, а ружье у меня было заряжено, только курок не взведен, и все равно я старалась держать это ружье подальше от себя и Дмитрия Максимовича.

Перед нами, вдали, слышались какие-то крики и гудки. Я спросила у Дмитрия Максимовича, что это значит, а он сказал, что это шумят загонщики и чтобы я не болтала, а была внимательной. И тут я вдруг увидела зайца. Я сначала не поверила своим глазам, потому, что он был похож не на зайца, а на кролика, и вел себя не как заяц, а как кролик: он не бежал стремглав, а медленно прыгал то вправо, то влево, то вправо, то влево и таким образом подвигался вперед.

— Дмитрий Максимович, — сказала я, — по-моему, вон там скачет заяц.

— Где? — спросил Дмитрий Максимович.

Но заяц скрылся за деревьями, а когда он показался между ними, Дмитрий Максимович выстрелил из обоих стволов и оглушил меня, но заяц поскакал дальше, все так же медленно — вправо и влево, и тогда Дмитрий Максимович закричал мне: "Стреляй!" Но пока я двумя руками взвела курок и выстрелила, заяц уже ускакал, а я так волновалась, что забыла про отдачу, и очень удивилась, что ружье снова стукнуло меня по плечу.

— Зачем же ты так длинно объясняла про зайца? — с досадой сказал Дмитрий Максимович. — Нужно было сказать только одно слово: "Пыльной!"

"Пыльной" — это по-украински значит: будь внимательным или бдительным.

Дмитрий Максимович перезарядил сначала свое, а потом и мое ружье и сказал, чтобы я была повнимательней, как будто это он, а не я первым заметил зайца.

Я задумалась о том, как все-таки было бы здорово, если бы я убила зайца, и о том, что в школе мне все равно бы не поверили, но в это время Дмитрий Максимович шепотом сказал: "Не стреляй", а я никуда и не собиралась стрелять. Я посмотрела сначала на него, а потом влево и сразу же увидела, что мимо нас бесшумно и быстро, как во сне, движется громадное сказочное существо с ветвистыми рогами такой же формы, как мох, который я собрала с окружающих нас деревьев. Это был лось. Я увидела живого лося! Честное слово, он прошел от нас па расстоянии

в двадцать, ну, может быть, в сорок метров.

Я потом спросила у Дмитрия Максимовича, что бы с нами было, если бы он на нас бросился, но Дмитрий Максимович сказал, что лоси — благородные животные и никогда не бросаются на людей.

Тем временем загонщики вышли к нам. Мы собрались все вместе. Дмитрий Максимович был очень раздосадован тем, что не попал в зайца. Папа вообще не стрелял, потому что не видел никаких животных. А генерал Иван Иванович сердито говорил, что это вообще не охота, что нужна "пороша" и что заяц "залег", и все вытирал нос белоснежным платком, который очень не подходил к его старенькому ватнику.

Но дядя Тима убил зайца, и все его поздравляли с "полем", и всем, как мне показалось, было завидно.

Нас перевезли на новое место, но на этот раз мы не видели никаких зверей, а когда все собрались, оказалось, что дядя Тима убил еще одного зайца, а потом была третья "загонка", и в третьей "загонке" дядя Тима убил двух зайцев, а все остальные ни одного.

И пока все это происходило, я очень замерзла и устала, и хотя снег был неглубоким, он мне все равно набился в ботинки, и я обрадовалась, когда сказали, что пора обедать, потому что уже два часа дня.

Обедали мы на открытом воздухе, просто на лесной поляне, где в землю вбили два рогатых сука, на них положили толстую палку, на палку повесили ведро, а под ведром разложили костер. В ведре сварили полевой супчик. Ничего вкуснее этого супчика я не ела за всю свою жизнь. В этот супчик положили кусок баранины, и кусок свиного венгерского сала, которое мы привезли с собой, и целого петуха, и половину утки, и пшено, соль, лук, перец, укроп и петрушку и начали его варить, оказывается, как только мы пошли в первую "загонку". За это время пшено и все это разное мясо разварилось в одну сплошную кашу и пропахло дымом.

Нам с папой налили этого супчика в одну помятую миску из "металла социализма" — алюминия, и мы, обжигая язык и губы, съели целую миску, а потом еще попросили добавки.

— Просто объедение, — сказал генерал Иван Иванович, вынимая из кармана свежий белый носовой платок и утирая им рот.

"Интересно, сколько у него с собой платков?" — подумала я. У меня не было ни одного, и я решила, что мама права, что нехорошо девочке всегда ходить без носового платка.

— Ну как, Ольга Николаевна, — спросил у меня генерал, — не замерзла?

— Нет, ничуть, — ответила я, потому что очень разогрелась от супчика.

— Довольна, что поехала на охоту?

— Очень довольна, — сказала я. Мне в самом деле было так хорошо и интересно, как никогда в жизни.

Присев на корточки и разгребая палкой головешки в костре, Дмитрий Максимович сказал папе:

— А знаете ли, не хотел вам говорить, но ходят слухи, что героя вашего фельетона выдвигают

на повышение.

Я никогда не могла понять, почему люди находят, казалось бы, самое неподходящее время и место для того, чтобы сообщить какое-нибудь неприятное известие.

— А куда именно? — таким тоном, словно ему это было совсем безразлично, спросил папа.

— В Совет Министров.

— Ну что ж, — сказал папа. — Это ненадолго.

— Будем надеяться, — ответил Дмитрий Максимович и налил себе в миску еще черпак полевого супчика. — Но бои предстоят еще тяжелые, трудные бои... Ну что ж, пора и за дело... Что, Оля, убьем зайца?..

Я не ответила, потому что у меня совсем испортилось настроение.

Мы еще долго охотились, и дядя Тима убил еще лисицу, а больше никто ничего не убил. Самым интересным занятием на охоте оказалась стрельба по бутылкам. Когда охота закончилась, на сосну, на сучок, надели бутылку, и все стреляли в нее по очереди с большого расстояния. Дмитрий Максимович стрелял первым, и он промазал, а я хорошо прицелилась и хотя перед самым выстрелом зажмурилась, все равно разбила бутылку вдребезги.

Перед самым отъездом дяде Тиме заплатили деньги, и он дал по зайцу папе, и генералу Ивану Ивановичу, и Дмитрию Максимовичу, и нашему водителю. Дмитрий Максимович попросил, чтобы я никому не рассказывала, что зайцев убили не они, а егерь.

— А если ты проговоришься, — сказал Дмитрий Максимович, — то из тебя уже никогда не получится настоящего охотника. Настоящий охотник умеет свято хранить тайну охотничьей добычи.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Я посматривала на свои часики через каждую минуту. Может быть, Коля опаздывал? Он иногда опаздывал на урок, и я ждала, что сейчас откроется дверь, что Коля спросит: "Разрешите войти?", что Елизавета Карловна скажет: "Почему ты опоздал?", что Коля ответит: "У нас испортился будильник", или еще что-то в этом роде и что Елизавета Карловна в ответ скажет: "Сядь на место и дай дневник".

Но Коля не приходил, и мне стало как-то неуютно в нашем классе, потому что я подумала, что он заболел. Мы с ним по-прежнему не дружили и даже не разговаривали, и, казалось бы, мне должно быть безразлично, пришел он в школу или не пришел. Но мне это было не безразлично, тем более что он никогда не пропускал занятий, разве только прежде, когда Коля дома не готовил уроков, он мог сбежать с контрольной.

— Ты не знаешь, что с Колей? — спросила Елизавета Карловна у Вити после урока.

— Нет... Может, он простудился?

— Может быть, — ответила Елизавета Карловна. — И вам, его друзьям, следовало бы это выяснить.

— Я зайду к нему после школы, — сказал Витя. Елизавета Карловна не спросила у меня о том,

что с Колей.

Она всегда безошибочно знала, у кого спросить об отсутствующем на уроке ученике. И все-таки мне было бы приятней, если бы она обратилась ко мне. И поручила бы мне зайти к нему. Я бы, конечно, не пошла, но все-таки...

К шести часам — было уже темно, теперь рано темнеет — мы собрались у Вити. У него появилась новая идея: с помощью наших сокращающихся пленок построить что-то вроде вечного двигателя. Конструкцию он придумал очень интересную, но я не знала, можно ли ее сделать практически. В младших классах, а иногда и в детском саду все дети делают себе двигатели, которые вращаются центробежной силой. Для этого нужно крепкую нитку сложить вдвое, продеть через отверстие в большой пуговице, завязать конец, надеть нитку на пальцы, закрутить ее, а потом растягивать и отпускать. Пуговица при этом с огромной скоростью вращается то в одну, то в другую сторону, пока не лопнет нитка. Хотя я уже большая, но я до сих пор люблю готовить себе такие двигатели.

Витя сказал, что если мы вместо нитки используем нашу пленку, а в две ванночки для проявителя нальем кислоту и щелочь, то пуговица будет все время крутиться то в одну, то в другую сторону.

Когда я пришла к Вите, там уже были Сережа, Лена и Женька Иванов, но Коли не было.

Мы скрутили пленки так, что они напоминали тонкие шнурочки, и продели их в пуговицу, и сделали все остальное, как предлагал Витя, но пуговица даже не собиралась вращаться.

Я все время раздумывала о том, как спросить у Вити, заходил ли он к Коле, но ничего не могла придумать, а ребята, как назло, словно забыли о Коле, и никто даже не вспомнил, что его днем не было в школе и что вечером он не пришел к Вите. Но, может быть, подумала я, Витя рассказал ребятам, почему Коли не было, еще до моего прихода?..

Пришел Витин пана, Леонид Владимирович, погладил бороду и сказал, что так из нашей машины ничего не получится, потому что одна половина пленки растягивается, а другая сжимается, и что для того, чтобы наша машина заработала, нужно сделать саморегулирующееся устройство, которое поочередно поливало бы пленку то кислотой, то щелочью. Он нарисовал нам схему, как сделать такое устройство, и тут же добавил, что мы не сможем его изготовить.

— Леонид Владимирович, — сказал Сережа, — что это у вас за ниточка?.. На пиджаке?..

— Где? — спросил Леонид Владимирович.

— Вот она...

Сережа потянул какую-то белую ниточку на плече у Леонида Владимировича, и мы вдруг с удивлением увидели, что нитка тянется без конца, тянется и тянется, метр за метром, а Сережа вытягивает ее двумя руками и опускает на пол.

— Погоди, — испугался Леонид Владимирович. — Ты этак мне весь пиджак распустишь...

Он снял пиджак и сам стал тянуть эту нитку, а она все тянулась и тянулась без конца.

— Откуда она могла взяться? — удивился Витин папа и стал осматривать свой пиджак. — Э, — закричал он вдруг, — да у меня в кармане катушка! Ну, знаете... Твоя работа? — обратился он

к Сереже. — Вот зачем ты вертелся вокруг моего пиджака!

— Моя, — ответил Сережа.

Я подумала, что если бы Сережину изобретательность использовать, так сказать, "в мирных целях", то он мог бы придумать что-нибудь очень ценное. Оказывается, Леонид Владимирович снял пиджак и повесил его на стул, а Сережа тем временем засунул ему в карман катушку ниток, конец нитки иголкой продел под подкладкой и вывел ее наружу.

Леонид Владимирович смотрел на Сережу с восхищением. Что Вы Сережа ни сказал или ни сделал, Леонид Владимирович всегда смотрит на него, как бы любясь.

У меня про это есть своя теория, только я никому о ней не говорила. Я думаю, что Витин папа в детстве хотел быть таким, как Сережа, только у него это не получалось, и он был таким, как Витя. И когда он стал взрослым, то отрастил себе бороду, а Сережа, даже когда он будет совсем взрослым, все равно не станет ходить с бородой. А Витя, возможно, будет.

Я смеялась над Сережиной проделкой и думала обо всем этом и еще о том, что уже семь часов, что Коля не пришел и, по-видимому, уже не придет.

В конце концов я не выдержала и спросила у Вити:

— Ты заходил к Коле?

— Нет, — отмахнулся Витя, — не успел. Завтра зайду... А что, если мы вместо пуговицы возьмем свинцовый кружок потяжелее, сделаем в нем две дырки, как в пуговице, и скрутим побольше пленок, а потом будем их сверху поливать поочередно то кислотой, то щелочью? Если колесо будет крутиться, то, может быть, потом удастся сделать самодвижущийся велосипед?

— И что же? — возразила я. — Велосипедист будет держать в руках две бутылки со щелочью и кислотой и по очереди лить из них жидкость на колеса?

— Это только как опыт, — сказал Витя. — А потом мы еще что-нибудь придумаем.

Лена, которая за последнее время так понаторела в химии, что я даже удивлялась, тоном и даже голосом Елизаветы Карловны произнесла:

— Нужен катализатор. Мы перестали делать серьезные опыты, а занимаемся фокусами. Если мы найдем катализатор, то пленки будут стягиваться с большей силой, и тогда можно будет сделать не только велосипед, но и птицелет.

Да, Лена была права. Нужно было искать катализатор. Мама говорила как-то, что многие люди строят воздушные замки, но лишь некоторым удается сделать свои мечты действительностью. И если бы мы нашли катализатор, то наш воздушный замок, наша мечта про птицелет стала бы действительностью и на нем бы летали так, как сейчас летают на самолетах. Может быть, наша социалистическая промышленность начала бы выпускать даже индивидуальные, ну, личные птицелеты, как сейчас выпускают мотоциклы или велосипеды, и люди ездили бы на работу или в гости не в троллейбусах, а в птицелетах.

Александра Леонидовна, как всегда, пригласила нас ужинать.

— Я вам помогу накрыть стол, — сказала по-английски Лена Витиной бабушке. — Можно?

— Ну конечно, — ответила по-русски Александра Леонидовна.

"Вот они и нашли общий язык", — подумала я.

Лена еще что-то сказала по-английски, только я не поняла. Она обращалась к Витиной бабушке, но смотрела при этом не на нее, а на нас какое это производит впечатление.

— Пойдемте, дети, — снова сказала Александра Леонидовна.

Я от ужина отказалась и пошла домой. Мне это было самой удивительно, но, честное же слово, я теперь ничуть не завидовала Лене, что она так дружит с Витей и что она, а не я, разговаривает с героической Витиной бабушкой и так свободно чувствует себя у них дома. Я не знала, почему я так теперь к этому отношусь. Но догадывалась. Потому, что у меня были другие заботы.

В эти дни я старалась поменьше бывать дома. Хотя и папа и мама разговаривали между собой и со мной очень нежно, но это, как мне казалось, была какая-то искусственная нежность, а в самом деле они говорили одно, а думали о другом и смеялись, когда им совсем не хотелось смеяться, и все время у нас были какие-нибудь гости, а когда не было гостей, папа читал "Войну и мир", "Анну Каренину" и другие произведения великого классика русской литературы Льва Толстого.

Я шла домой и думала, что нужно будет рассказать, как Сережа устроил этот фокус с белой ниткой. А может быть, самой засунуть папе в карман пиджака катушку и продеть нитку так, как это сделал Сережа? Это рассмешило бы папу.

Но, может быть, думала я, и не стоит этого делать, потому что папа вдруг рассмеется неискренне, а когда он смеется неискренне, у меня начинает дрожать подбородок. Как удержаться от смеха, я знаю: нужно уколоть себя чем-нибудь острым ниже колени, куда врачи стучают молоточком, а как удержаться от слез — человечество еще не открыло.

Как только я вернулась домой, я сразу почувствовала, что произошло еще что-то очень неприятное: мама не смотрела на меня, а папа ходил взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы штанов, и мама не говорила ему, чтобы он вынул руки, потому что это плохая привычка.

Я поужинала на кухне. Все время я слышала, как папа ходит из угла в угол. Когда я вошла в комнату, папа сказал:

— Вот что, Оля... Случилось большое несчастье... Колин отец попал под трамвай.

— Как это — под трамвай? — глупо спросила я. — У нас ведь нет трамваев.

Папа посмотрел на меня удивленно и пожал плечами.

— Я хотела сказать — в нашем районе...

— Он умер, Оля.

Папа сказал "он умер", а я никак не могла себе представить, что Богдана Осиповича уже нет. Я заплакала и спросила:

— А когда это?..

— Еще в субботу.

Пока мы ездили на охоту и стреляли в бутылки, здесь погиб Колин отец.

Папа снова прошелся по комнате, остановился и сказал:

— Я собираюсь к ним. Я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Мама, правда, думает, что тебе нужно избегать тяжелых впечатлений. Но я... — Папа не закончил фразу и спросил: — Пойдешь?

— Да, — ответила я и стала одеваться.

— Только не плакать, — сказал папа. — Только не плакать.

Так и не успел Богдан Осипович переехать в новый дом.

Дверь в Колину квартиру была приоткрыта, как летом. Папа позвонил, и к двери подошел Коля. Он посмотрел на нас и сказал: "Здравствуйте". Мы прошли через кухню в комнату, где на столе, в самом центре, стоял гроб, окруженный венками с бантами из стружек, горшками с цветами, еловыми ветками, а вокруг у стен стояли стулья. На стульях сидели Колина мама, какой-то пожилой милиционер и усатый дяденька с палкой, который жил в нашем доме. Елена Евдокимовна встала нам навстречу и сказала:

— Спасибо, что пришли. Садитесь...

Мы с папой сели на стулья рядом с Еленой Евдокимовной, а Коля тоже сел, но по другую сторону стола. Мы не снимали пальто, папа держал шапку на колене. Я старалась не смотреть на Богдана Осиповича и смотрела поэтому все время то на милиционера, то на дяденьку с палкой, то на Елену Евдокимовну. Лицо Елены Евдокимовны еще более белое, чем всегда, выглядело спокойным, серьезным и замкнутым. Она не плакала, и я понимала, какой она была, когда тащила на себе раненых под огнем.

Милиционер все время покашливал и начинал говорить, но не заканчивал фраз: "Вот, значит, выходит...", "Значит, завтра с утра...", "А у нас говорили..."

Дяденька с палкой держал палку между колен и смотрел на ее конец. Я заметила, что у него дрожит подбородок, и изо всех сил старалась не заплакать, но все равно у меня потекли слезы.

Я посмотрела на Богдана Осиповича и сразу же отвела глаза, потому что его лицо показалось мне совсем незнакомым и страшным — желтым, пухлым, ненастоящим.

Из Колиной комнатки — дверь в нее была приоткрыта — выглянул белый глухой кот с голубыми глазами, но сейчас же скрылся назад, словно чего-то испугался.

Папа встал, сказал Елене Евдокимовне, что мы завтра придем, попрощался и пошел на кухню, а я вслед за ним. Нас догнал Коля. Он остановил меня и тихо сказал:

— Я как раз к тебе собирался. Поговорить нужно.

Я посмотрела на папу.

— Хорошо, — кивнул головой папа. — Только не долго.

— Выйдем, — сказал Коля, вдевая пальто в рукава. Все время на нем пальто было надето

внакидку, потому что в комнате было очень холодно, и меня знобило. Такая мелкая дрожь, и холодок в груди, и цокают зубы. Мы вышли на улицу, и мне показалось, что на улице теплей.

— Вот что, — сказал Коля, когда мы подошли к воротам. Он остановился и повернулся ко мне, и только теперь я сообразила, что он без шапки. — Вот что. Я этого никому не говорил... Я это сказал только следователю, но он надо мной посмеялся. И все равно я знаю, что батю моего — убили.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Наверху стоял серый чугунный Владимир с крестом в руках. Этот холм с крутыми склонами назывался Владимирской горкой. Когда-то в этом месте, под ним, я не помню, в каком году, хоть мы это проходили по истории, князь Владимир, по прозвищу Красное Солнышко, крестил Русь.

Мы с Колей шли вниз, в сторону Подола, по улице, проходившей у подножия Владимирской горки. И хотя я понимала, что ничего особенного мы там не увидим, меня все равно знобило, и дрожали руки, как будто кто-то сзади их тряс. На этой улице трамвай сбил Колиного отца, и мимо нас проезжали трамваи, и один из этих трамваев, возможно, был тем самым.

Как это иногда бывает в Киеве зимой, влажный снег вдруг сменился дождем, холодным и противным, от Днепра дуло, и капли били по лицу, и под ногами было мокро, холодно и скользко.

Мы шли молча, и я думала обо всем этом, и о том, что не может быть, чтобы Богдана Осиповича убили, и о своем папе. "А если бы это мой папа попал под трамвай, — думала я, — и сказали бы, что он сам виноват. Я бы тоже не могла этому поверить и с этим примириться, и так же, как Коля, считала бы, что его, может быть, нарочно толкнули. Но мой папа в самом деле как бы попал под трамвай, — думала я. — Только он остался жив. Но что-то у него отрезало".

Я вспомнила, как вчера вечером, когда я уже легла спать, пришел откуда-то папа, он теперь иногда поздно приходит, и со странным смешком, совсем не похожим на его смех, с каким-то горьким смешком говорил маме: "Написал рецензию. На книгу стихов Гамзатова. Всего шестьдесят строк... Лежит. Не печатают. Сделал очерк. На радио. Лежит. Радио молчит..."

Вот поэтому, наверное, Коля и был убежден, что его отца нарочно убили. Он говорил, что Богдан Осипович никогда не пил водки или вина, а врачи после смерти установили, что его отец попал под трамвай пьяным. Кроме того, Богдан Осипович никогда не курил, а у него в кармане нашли сигареты.

— А если он в тот раз нарушил эту свою привычку — не пить алкогольных напитков? — осторожно сказала я Коле. — Ведь бывает, что...

— Нет, — прервал меня Коля с какой-то яростью. — Этого не может быть! Ты не знаешь... Батя рассказывал, что на фронте он пил водку, и раз его вызвал полковник с грузинской фамилией — я уже забыл, как фамилия, вроде Унгиадзе, — а батя сделал вид, что не пьяный, и пошел со своим отделением в разведку, и закурил, и чуть не погубил своих товарищей, и чуть сам не погиб... И с тех пор он дал слово никогда не пить и не курить.

Я подумала, что люди иногда нарушают свое слово, но не сказала этого вслух.

— Как это все произошло? — спросила я. — Как он там оказался?

Коля тогда стоял в пальто и без шапки у ворот своего дома, и почему-то мы оба не могли пройти за эти ворота.

Глядя в землю, Коля рассказал, что в субботу, часов в семь, Богдан Осипович сказал, что уйдет ненадолго по делу.

"Не задерживайся, — сказала ему Елена Евдокимовна. — Ты ведь говорил, что вечером придет Юрий Митрофанович".

Юрием Митрофановичем звали усатого дяденьку с палкой из нашего дома.

"Через два часа я приду. А если чуть задержусь, пусть Митрофаныч меня подождет".

Юрий Митрофанович не пришел, а Богдан Осипович все не возвращался, и в одиннадцать часов вечера Елена Евдокимовна начала волноваться. Она пошла к телефону-автомату и позвонила в отделение милиции, где служил Колин папа, но там сказали, что он не заходил, но если он появится, то ему передадут, что жена беспокоится.

Елена Евдокимовна так и не ложилась спать, а Коля спал тревожно и настороженно. Ночью к ним в дверь позвонили. Коля проснулся и понял, что что-то случилось, потому что это был не отец — у отца был ключ... Вошел их знакомый — дежурный из отделения милиции — и еще какой-то человек в гражданском, и дежурный сказал, что с Богданом Осиповичем случилось несчастье. Елена Евдокимовна и Коля поехали с ними. "Я матю одну не пушу", сказал им Коля.

Коля мне не рассказывал, что они там увидели. "Это такое, — сказал Коля, — что об этом нельзя говорить".

Ну, а уже потом какая-то "экспертиза" показала, что Богдан Осипович попал под трамвай по своей вине в нетрезвом состоянии.

Папа, мама и я были на похоронах Богдана Осиповича. Когда выносили гроб, играл милицейский оркестр, и Елена Евдокимовна, которой, я видела, эта музыка была совсем непереносима, не плакала, но и не сказала, чтобы они прекратили.

На кладбище поехали три автобуса, и было много людей, которых я не знала. Коля потом сказал мне, что и он многих не знает. Так, например, сильно плакала одна красивая молодая женщина в синтетической шубке и такой пушистой шапке, как это теперь модно. Коля ее видел в первый раз, но она говорила, что ей известно, каким хорошим человеком был Богдан Осипович, и когда она узнала о том, что с ним случилось, она все бросила и прибежала.

А потом были поминки. Нас позвала Елена Евдокимовна, и мы пошли, даже мама, хотя она шепнула папе, что, по ее мнению, поминки — обычай уродливый и нелепый.

Я с ней вполне согласна. К чему это? Чтобы еще больше ощутить преимущество живых перед мертвыми? Или доказать самим себе, что нам все безразлично? Даже смерть? И неужели взрослые, которые здесь собрались, не понимали этого? Или они пришли потому, что так принято, а самим им было так же стыдно, как мне? И так же, как я, они давились каждым съеденным куском?

Юрий Митрофанович — дяденька с усами и палкой из нашего дома — налил себе в стакан водки, поднялся и сказал:

— Помянем же покойного нашего друга Богдана Осиповича Галегу. Не для того, как говорилось в церковной службе: если мертвые не встанут снова, то будем же есть и пить, ибо завтра мы умрем, а для того, что это мужественный обычай. Умер наш товарищ, наш друг, и каждому тяжела его смерть. Но мы не лицемеры, мы знаем, что жизнь продолжается и что покойник был одним из тех людей, которые желали людям счастливой жизни. И помогали им жить счастливо. И вот мы собрались и действительно едим и пьем и почтим этим его память.

После него о Колиной отце говорил еще лысый толстый дяденька в очках и с одышкой, чем-то похожий на доктора. Он сказал:

— Мы с покойным Богданом Галегой были друзьями... Мы вместе были на фронте. Вместе ходили в разведку. И когда нам, разведчикам, однажды пришлось отходить, а он прикрывал отход... Мы шли спокойно, не оглядываясь. Галега был из тех людей, которые стреляют до последнего патрона. Из надежных людей...

А старый милиционер — его звали дядя Семен — снова сказал: "Вот, значит, как выходит..." и покивал головой... Кроме того, там было еще несколько милиционеров, и соседи из их дома, и какой-то артист с бантиком вместо галстука, и продавщица тетя Вера из нашего гастронома.

Во время этих поминок случилось одно неприятное происшествие. Я еще прежде заметила, что лицо у Коли как-то очень изменилось, стало напряженным и злым, как у человека, который целится, и вдруг он спросил у дяди Семена они сидели рядом:

— Откуда у вас этот нож?

Дядя Семен почему-то держал в руках такой большой складной ножик с зеленой пластмассовой ручкой.

— Что ты, мальчик, — смешался дядя Семен. — Это мы вместе с твоим покойным батей покупали. Одинаковые. Ему и мне.

Коля покраснел и попросил:

— Дайте его мне.

— Ну что ж... Возьми, — не сразу согласился дядя Семен. — На память...

По-моему, все-таки телепатия существует в действительности. Мы с Колей шли все время молча, но лишь только я вспомнила об этом ноже, как Коля повернулся ко мне и сказал:

— Знаешь, нам вернули батины вещи. Ну, которые остались... Но такого ножа, как у дяди Семена, среди них нет. И дома я всюду искал. Его тоже нет.

— Ты думаешь — это был тот самый нож? — спросила я, пугаясь собственных догадок.

— Нет, — сказал Коля. — Не знаю. Просто я теперь ничему не верю.

Мы уже дошли почти до самого низа по этой улице вдоль Владимирской горки, слева была горка, а справа склон к набережной и Днепр.

Мимо нас вниз шел трамвай. Вдруг через дорогу побежала собака крупная, серая, похожая на немецкую овчарку, но не овчарка. Она бросилась прямо под вагон. Я зажмурилась. Трамвай зазвонил и проехал вниз, а я боялась посмотреть на рельсы, потому что думала, что трамвай

переехал собаку и что это то самое место. Но Коля потащил меня за рукав и сказал:

— Пойдем. Она пробежала. Под самым носом у трамвая. Нам — дальше... Ты смотри, сколько тут собак...

В самом деле, через дорогу в том же месте пробежали еще две собаки одна побольше, а другая маленькая, с белой грязной шерстью, и обе нырнули в дырку в заборе, отделявшем от улицы поросший деревьями склон.

— Это здесь, — сказал Коля и показал мне на рельсы.

Мимо нас прошел трамвай. Я со страхом посмотрела на рельсы. Мне казалось, что там до сих пор должна быть кровь. Мне казалось, что это место должно чем-то отличаться. Но оно было таким же, как и вся остальная улица.

— Это здесь, — повторил Коля и посмотрел на меня исподлобья очень серьезно, как бы что-то во мне проверяя. Я никогда прежде не замечала у него такого взгляда. — А теперь — пойдем. Попробуем все-таки понять, как батя мог здесь оказаться. Зачем он сюда ходил? Ведь это не его район...

Мы спустились еще немного и повернули направо, к набережной.

— Начнем с набережной, — сказал Коля. — Зачем батя мог сюда пойти? Кого-то встретить? Но катера сейчас не ходят. Пойдем дальше.

Мы прошли вдоль причала к дощатому деревянному зданию с надписью "Павильон". Мы вошли внутрь. В павильоне было грязно, душно и холодно. Люди в пальто и шапках пили за столиками пиво и ели колбасу. За одним из столиков мы увидели милиционера дядю Семена. Он сидел один.

— Что вы здесь делаете, ребята? — спросил он, когда мы подошли к нему.

— Да так, ничего, — ответил Коля. — Здравствуйте.

— Здравствуйте... Пришли посмотреть на это место? Ну что ж... Не замерзли?..

Мы молчали.

— Ты, Колюшка, не смотри, что я выпил, — сказал дядя Семен. — У меня сегодня отгул. Вот я и выпил сто грамм. И правильно... У нас в отделении говорят, что милиционер должен уметь это... Говорят, был бы твой батя пьющий, не случилось бы с ним этого. Пьющий человек хоть и выпьет, а на ногах держится. А непьющий, если выпьет, так все с ним может случиться... Ты только не обижайся...

— Пойдем, — сказал Коля и потащил меня за рукав, но вдруг остановился и спросил: — Дядя Семен, а вы не знаете фамилии этого вагоновожатого? Ну, который...

— Знаю. Его фамилия Стеценко будет. А для чего он тебе?

— Да так, — ответил Коля, и мы ушли.

— Что здесь делает дядя Семен? — спросила я у Коли,

— А ты что, сама не видела? Выпивает.

— Значит, он знает этот буфет. Может быть, он бывал здесь вместе с твоим папой?

— Ну что ты в самом деле! — с досадой посмотрел на меня Коля. — Я ведь тебе говорил, что батя ничего не пил. Даже пива. Так для чего бы он сюда пришел?

Мы пошли от этого павильона сначала вправо, а потом влево. Слева были какие-то мастерские с нелепым названием "Титан", и Коля сказал, что сюда его отец уж никак не мог ходить, а дальше были склады, которые мы обошли кругом, и Коля сказал, что складами нужно будет еще поинтересоваться. Было там еще такое летнее кафе-мороженое, такая веранда, на которой летом стояли столики под зонтиками, но сейчас там было пусто, и ветер катал по полу промерзшие бумажные стаканчики.

— Вот что, — сказал Коля, не глядя на меня. — Ты поезжай домой. А я пойду еще в одно место.

— Куда?

— На последнюю остановку... трамвая. Нужно найти этого вагоновожатого.

Я сказала, что пойду с Колей, и увидела, что он этим доволен, хотя он не подал виду. Наверное, ему было все-таки страшно встретиться с глазу на глаз с тем самым вагоновожатым.

Мы пошли пешком на Красную площадь — это было недалеко. Когда подъехал трамвай, Коля спросил у вагоновожатого, не Стеценко ли он, а вагоновожатый сказал, что нет и что Стеценко приедет через один вагон.

Чего только не взбредет в голову, когда напряженно чего-либо ожидаешь! Мне казалось, что я непременно узнаю этого вагоновожатого Стеценко, что он окажется человеком, которого я прежде уже видела, что, скорее всего, это будет один из тех двух парней, которые лезли без очереди в гастрономе, или старик, который когда-то забрал мой фотоаппарат. Но на самом деле вагоновожатый Стеценко был совсем незнакомым невысоким пожилым человеком. Он очень испугался, когда узнал, зачем мы пришли.

— Вот, значит, какое дело, — сказал он растерянно. — У меня график... Но я спрошу диспетчера... Вагон на запас! — громко крикнул он пассажирам, которые уже входили в трамвай.

Он вышел из вагона, переговорил с человеком в черной шинели, который стоял на тротуаре, вернулся и отогнал вагон на запасной путь.

— А теперь послушай, мальчик, — сказал он Коле, выходя из своей кабины. — Я не убивал твоего отца. Конечно, всякое случается в жизни. И всякие случаи бывают на транспорте. Но в этом я не виноват. Ты сам пойми — меня б не оставили на работе... Да и судили бы меня, если бы я сбил человека.

— Как это произошло? — спросил Коля.

— Ты видел, какой там спуск? Сразу не затормозишь. Сильно мелко. В метели мне показалось, что через рельсы переходят на другую сторону вроде бы три человека. Я даже затормозил слегка. А потом вдруг увидел: прямо перед вагоном лежит человек. Понимаешь, поперек рельсов. Я стал тормозить... Но уже было поздно, и я толкнул его... Но я его не убивал. Ты пойми, у меня у самого дети. Двое... Голова у него была за рельсами, в сторонке. Я до нее не дотронулся... А при обследовании тут же на месте судебный врач обнаружил, что голова разбита. Значит, его какие-то бандиты бросили на рельсы. Иначе бы меня не допустили до

работы. И судили бы. Ты уже большой парень и должен понимать...

— Вы говорили об этом следователю? — снова так же, словно что-то проверяя, посмотрел на вагоновожатого Коля.

— Следователю? — удивился вагоновожатый Стеценко. — Следователь был при этом. Сразу бригада приехала из милиции, с врачом и следователем...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мне было очень жарко, и я чувствовала, как у меня по животу стекают струйки пота. Мне хотелось почесаться, но я знала, что этого нельзя делать. В стороне, справа, стоял большой телевизор, и на его экране я видела себя, как в зеркале. Если бы я почесалась, то это увидели бы все телезрители и, наверное, они бы подумали, что школа, а также семья меня недостаточно хорошо воспитывают.

Я никогда даже не догадывалась, что тех, кто выступает по телевизору, освещают яркими лампами, которые обдают жаром, как электрические рефлекторы, — у нас дома включают такой рефлектор, если осенью холодает, а батареи отопления еще не действуют.

Я выступала последней. Ведущий — высокий веселый дяденька с очень близко поставленными глазами, о котором я слышала, что он видный критик, по фамилии Косенко, сказал:

— А сейчас выступит самая молодая из наших молодых поэтов Оля Алексева.

Телестудия захотела, чтобы по телевизору выступили молодые поэты. Меня прямо с урока физики вызвали в кабинет завуча и сказали, что я тоже должна выступить. Молодых поэтов было пять человек, я шестая, и среди них были люди, которые выглядели ничуть не моложе, чем мои мама и папа. Стихи они читали очень хорошие, только все почему-то подвывали на концах строк. Это на меня так подействовало, и я так волновалась, что и сама начала подвывать на концах строк, как они. Может быть, это вообще бывает от волнения?

Я прочла стихи про Буратино и про Тараса Шевченко. Я хотела прочесть еще про сколзанки, но тетя, которая заранее слушала все стихи, сказала, что про сколзанки не нужно читать, потому что это стихотворение телезрители могут понять неправильно.

В другое время я, конечно, очень бы радовалась, что меня пригласили выступить по телевизору, но сейчас я была занята мыслями об одном загадочном событии, и мне казалось, что мы с Колей приближаемся к разгадке того, кем был убит Богдан Осипович. А что он был убит, а не просто попал под трамвай, после того что нам сказал вагоновожатый Стеценко, у меня уже не было никаких сомнений. Хотя вначале, когда Коля сказал мне, что его папу убили, только на том основании, что Богдан Осипович никогда не пил водки или вина, я подумала, что этого не может быть. То есть не то, что он не пил, а то, что его убили какие-то люди нарочно.

Мы с Колей решили никому об этом не говорить, пока у нас не будет точных фактов, но Коля сам рассказал об этом фронтовому другу своего отца, лысому, похожему на доктора, дяденьке, который так хорошо говорил на поминках о Богдане Осиповиче. Фамилия его была Соколов. Коля встретил его на улице, на Подоле. Я не присутствовала при этом разговоре. Соколов сказал Коле, что это вполне возможно, что, возможно, Богдан Осипович встретился с кем-нибудь из своих старых фронтовых друзей. Что вспомнил войну и нарушил свой обычай не пить алкогольных напитков. А потом, возможно, Богдан Осипович увидел на улице каких-то хулиганов, а был он не в милицейском, а в обыкновенном костюме. И, возможно, он забыл, что

он не в милицейской форме, и хотел их отвести в милицию, а они ему разбили голову. И, чтобы замести следы своего преступления, бросили его под трамвай.

Коля спросил, с кем же из фронтовых друзей Богдан Осипович мог встретиться, и Соколов сказал, что все они порастерялись. Но где-то в Черкассах живет отставной полковник Романенко, который командовал частью, где служил Колин отец.

Я бы не обратила на все это такого внимания, если бы не одно странное совпадение. Сегодня мы с Колей ходили на табачную фабрику. Именно там и появилась эта загадка.

Колин папа не курил. Но среди вещей, которые отдала Колиной маме, был похожий на мыльницу пластмассовый портсигар с сигаретами. Коля сказал, что мы должны выяснить, что это за сигареты.

Для этого мы и отправились на табачную фабрику. Дежурный в проходной не хотел нас пропускать. Я стала выдумывать, для чего нам нужно на фабрику, и сказала, что мы нашли портсигар и хотим узнать, что за сигареты в нем, чтобы вернуть этот портсигар хозяину. Охранник так удивился моему нахальству, что стал похож на рыбу, попавшую на сушу: он выпучил глаза, вытянул вперед и открыл губы, а уши у него и так торчали из-под шапки-ушанки, как плавники.

Коля посмотрел на меня очень укоризненно и сказал:

— Вы нас пропустите... Нам нужно. Мой отец был милиционером. Его убили бандиты. Он не курил, но у него в кармане нашли портсигар, и нам нужно узнать, что в нем за сигареты.

— Как фамилия твоего отца? — спросил дежурный. Лицо его странно изменилось. Он смотрел на Колю, как смотрят на человека, который сильно порезался и у которого течет кровь, — сморщившись и переживая чужую боль.

— Галега. Богдан Осипович.

— Галега? — повторил фамилию охранник. — Нет, не слышал... Сейчас позвоним начальнику цеха. В котором сигареты выпускают...

Охранник позвонил по телефону и рассказал нам, как пройти в этот сигаретный цех.

На фабрике был очень сильный запах, но не табака, а какой-то неприятный кондитерский запах. Так пахнут леденцы, если о них забыли и они очень долго, целый год, пролежали в своей железной коробочке. Сигареты делала большая машина. Из нее с огромной скоростью вылетала одна бесконечная готовая сигарета. Эта же машина рубила сигарету на части и складывала в пачки.

Начальник цеха, пожилой дяденька с большим животом, держал в зубах сигарету длиной с карандаш. Он выслушал нас очень серьезно и, так же как охранник, сморщился, переживая чужую боль. Потом он посмотрел сигареты, которые ему дал Коля, и сказал:

— Это — черкасские... Но подождите-ка еще минутку. Начальник цеха ушел и вскоре вернулся с каким-то дяденькой, который рядом с ним выглядел как Дон-Кихот рядом со своим оруженосцем — он был высоким и худым. Это был их дегустатор, то есть человек, который по запаху и вкусу определяет качество табака.

Они разломали одну сигарету, распушили табак, и дегустатор каким-то образом определил, что

сигареты эти выпущены не больше, как месяц тому назад, потому что в них есть греческий табак, а табак этой партии прибыл к нам совсем недавно.

Начальник цеха сказал нам, что в сигареты входит смесь, состоящая из многих сортов табака, но настоящий специалист всегда может разобраться, из каких именно.

Но я его уже не слушала. Я думала о том, что в Черкассах жил этот фронтовой друг Колиного папы — Романенко. И сигареты были из Черкасс.

— Надо ехать в Черкасы, — решил Коля.

Вот обо всем этом я раздумывала, когда возвращалась в набитом троллейбусе домой со студии, — об этом и еще о том, что мне не хочется домой.

В те дни, когда у папы были неприятности, я многому научилась и многое поняла. Мама и папа тогда как бы поменялись ролями. Папа стал раздражаться из-за пустяков, редко улыбался, а мама как-то ловко умела его успокоить, уговорить. Она ни разу не повысила за то время на меня голоса, она придумывала то пойти в кино, то в театр. И что еще здорово, она ни разу не вешала носа, все время шутила, смеялась. По-моему, она никогда в жизни не была такой веселой.

Но теперь, когда у нас было все хорошо, когда папу восстановили на работе в редакции, когда все его поздравляли и дарили ему консервные ножи, я старалась, как это ни странно, бывать дома поменьше. Не знаю почему. Может быть, потому, что я часто бывала у Коли и видела, как плохо Елене Евдокимовне.

А дома меня ждал сюрприз. И очень приятный. Папа купил телевизор. Он назывался "Харьков". Это, оказалось, даже был не просто телевизор, а комбайн — в нем были радиоприемник, и проигрыватель для пластинок, и большой экран.

Раньше у нас не было телевизора, и мама не соглашалась его покупать из-за меня, — чтобы я готовила уроки, а не торчала перед экраном.

Но сейчас мама сказала, что раз я сама выступаю по телевизору, то нужно, чтобы он был в доме.

— А мы с папой смотрели, — сказала мама. — Молодец. Хорошо выступила. Только у тебя был чересчур серьезный вид. Даже ни разу не улыбнулась. И почему ты гладила себя рукой по животу?

— Я не гладила. Мне просто очень хотелось почесаться, — возразила я.

— Значит, ты чесалась? — рассмеялся папа.

Я рассказала, как жарко было там на студии и что я совсем не волновалась.

А на столе в стеклянной вазе стояли мои любимые пирожные "картошка".

— Принеси из кухни чайник, будем ужинать.

Мы сели ужинать, и за ужином папа говорил, что летом мы поедем в Крым и снова будем плавать, и гулять, и собирать гербарий и коллекцию бабочек. И еще папа хвалил стихи, которые я читала по телевизору.

А телевизор поставили на новый столик в самом углу комнаты. И пока мы ужинали, мы все время поглядывали на экран. Показывали "Телевизионные новости", и все очень хорошо было видно.

— Чуть не забыла, — сказала мама. — Тебе письмо. От писателя Корнилова.

У меня почему-то сдавило сердце — мне вдруг показалось, что в письме будет что-то неприятное. Я взяла письмо, но не распечатала его сразу, а пошла в свой угол, села на кровать, положила письмо на подушку и немного подумала, а уже потом разорвала конверт.

Странно, но, когда я читаю то, что написал знакомый человек, я всегда как будто слышу его голос. И сейчас письмо Павла Романовича тоже звучало для меня его голосом — высоким, чуть сиплым и очень приятным.

Милая Оля! — писал Павел Романович. — Извини, что так нескоро ответил тебе — я был в отъезде, и твое письмо мне только сегодня вручили.

Я догадываюсь, что день, когда ты мне написала это письмо, был для тебя днем больших сомнений. Внезапный успех, как и внезапная неудача, всегда оставляет свой рубец на характере человека. И людям иногда с успехом справиться бывает еще труднее, чем с неудачей.

Вот почему так порадовало меня твое письмо: оно живое свидетельство того, что у тебя здоровый организм, который смог переварить успех. Надеюсь, что он сможет так же легко переварить неудачи, а они неизбежно будут.

Теперь о твоих сомнениях в собственных способностях. Тут уж ничего не поделаешь. Ты всегда будешь сомневаться, мучиться, и, как бы тебя ни хвалили, в такие дни ты будешь волком смотреть на мир и на людей. Со мной это тоже часто бывало и бывает до сих пор, и я в таких случаях так расстраиваюсь, что всегда кончаю самоубийством. Но, поверь мне, милая девочка, стихи твои напечатали не потому, что я их предложил редакции, а потому, что ты их написала. И стихи твои мне очень нравятся. Я плохо запоминаю стихи, но твои знаю на память и с удовольствием читаю их своим друзьям.

А как я оказался в вашем садике — пусть останется тайной. Но когда ты будешь совсем взрослой и даже старенькой и будешь много ходить по городу, ты обязательно вымотришь по дороге какой-нибудь садик, а в садике какую-нибудь скамейку и разгадаешь мою тайну...

Павел Романович снова извинялся, что задержался с ответом на мое письмо, просил, чтобы я ему написала, как мне живется, как я учусь, и прислала ему новые стихи. А в конце письма он передавал привет Наташке.

Я написала стихи, но не знала, посылать ли их Павлу Романовичу. Когда я их показала папе, он воспринял их как-то странно.

Эти стихи я написала после того, как мы с Колей ходили на Подол. Вообще-то я хотела написать о дожде и о мокрых, холодных трамваях, но потом мне вспомнилась собака, которая перебежала рельсы, и стихи получились о собаках:

Подол — плохое место для собак:
Плевать трамваям на собачьи лапы.
У них дорога, пассажиры, график,
Она неотвратимы, как судьба.

Дождливые подольские дворы,
Изысканные завтраки помоек...
И, кажется, от моря и до моря:
Дожди, дворы, помойки и пиры...
А вечером огромная луна...
И так все время: бегай и надейся,
Что, может быть, останется на рельсах
Не голова, а лапа...

— Слишком они у тебя какие-то взрослые получились, — сказал папа. — И что ты понимаешь под словом "Подол"?

— Как — что? — ответила я. — Есть такой район в городе. Там много трамваев.

— Нет, — сказал папа решительно. — Мне эти стихи не нравятся.

Первый раз в жизни он так неодобрительно говорил о моих стихах. И разве это недостаток, если стихи "слишком взрослые"?

Я подумала, что у нас с ним просто разное настроение, что если бы я ему показала эти стихи, когда его несправедливо уволили из редакции, то, может быть, они ему и понравились бы, а теперь, когда у нас все благополучно и прекрасно, папе эти грустные стихи читать уже неинтересно и даже противно. Может быть, они ему напомнили о тех днях?

"Пошлю стихи про Подол и про собак Павлу Романовичу", — подумала я, хотя прежде, до того как я получила это письмо, я бы не решилась на это. Письмо писателя очень меня подбодрило.

Я вернулась в комнату и села спиной к телевизору за свой столик у окна. Я разложила книги и тетради, будто бы для того, чтобы делать уроки, но сама занялась совсем другим делом.

— Что это ты читаешь? — спустя некоторое время спросила мама и подошла ко мне. Она взяла у меня книжку и прочла вслух, так, чтобы слышал папа: "Немаловажный интерес представляет вопрос о сроках сохранения цвета волос после смерти. Срок этот не подчинен какой-либо закономерности, так как в каждом отдельном случае зависит от многих условий. Однако, как правило, при гниении цвет волос сохраняется довольно продолжительное время..."

— Что это за гадость? Откуда у тебя эта книга? — удивилась мама.

— Взяла у товарища.

— Зачем? Неужели тебе интересно это читать?

— Да, интересно, — ответила я с вызовом.

Я говорила неправду. В действительности мне было очень страшно и очень скучно читать эту научную книжку, которая называлась "Следы на месте преступления". Мне ее дал Коля. Она принадлежала Богдану Осиповичу. Начиналась она словами: "Осмотр места преступления часто называют краугольным камнем следствия..."

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мне кажется, что теперь у них всегда холодно. Хотя, когда я попробовала рукой печку, печка

была горячей. У них печка отапливается газом — в середину печки введена газовая труба, газ поджигают спичкой, он с шипением горит и нагревает булыжники, которые Коля сам положил в печку. Коля говорил, что от этого печка медленнее остывает.

Впрочем, скоро они переедут в новую квартиру, и там уже не нужны будут эти булыжники и это отопление — там квартира отапливается, как у нас, ТЭЦом.

Елена Евдокимовна и Коля сидели за столом и вязали сеточки-авоськи. Когда я пришла, Коля положил свою авоську на стол и сказал, чтобы Елена Евдокимовна ее не трогала, что он после сам ее закончит.

Интересно все-таки, почему всякие сложные вещи, ну, кофточки, например, или даже костюмы джерси вяжут машины, а авоськи делают вручную? Неужели это нельзя механизировать?

— Вот вы и помирились с Колей, — так равнодушно, словно речь шла не обо мне и Коле, а об очень далеких, незнакомых людях, сказала Елена Евдокимовна. — Будете опять вместе уроки делать?

— Будем, — ответила я.

— Ну хорошо, занимайтесь... А я пока чай поставлю.

С тех пор как погиб Богдан Осипович, Елена Евдокимовна очень изменилась. Во-первых, у нее с лица не сходила какая-то приклеенная улыбка, а во-вторых, Коля говорил, что она с тех пор ни разу не заплакала. Я где-то читала или слышала, что о каком-то человеке говорили, будто бы он "окаменел". Прежде я себе не представляла, как это может быть, а теперь понимаю, что так бывает в жизни.

Елена Евдокимовна все забывала. Она уже, наверное, в пятый раз говорила, что мы помирились с Колей. И ничему не удивлялась. Она ничуть не удивилась, когда Коля сказал, что поедет на день в Черкассы, не спросила даже, для чего.

Я думаю, что Коле совсем не нужно было выдумывать целую историю о том, что он хочет повидать фронтового друга Богдана Осиповича, полковника Романенко, чтобы он помог им получить пенсию. И когда Коля вернулся, она его не спросила о результатах поездки. Это я ждала результатов с огромным нетерпением.

Но никаких результатов не было. Коля сказал, что побывал в Черкассах в адресном бюро. Там ему дали адреса нескольких Романенко. И все оказались не те. Кто-то из этих Романенко посоветовал ему пойти в военкомат. А в военкомате Коле сказали, что полковник в отставке Романенко больше года тому назад переехал куда-то в Крым, кажется, в Ялту.

Колю это все так расстроило, он так надеялся на эту поездку в Черкассы, что он даже со мной перестал разговаривать о всей этой истории. Но сегодня, как только я вошла, по Колиному лицу я поняла, что появилось что-то новое. И действительно, он сказал, почти не разжимая губ:

— Есть новости. Потом расскажу.

Когда Елена Евдокимовна вышла на кухню, я подошла к Коле, а он наклонился ко мне и стал шептать на ухо:

— Понимаешь... Матя складывает сейчас всякие вещи. Ну, чтобы переезжать... А я ей, ну,

помогал. И в этом шкафу, — мы стояли в простенке между шкафом и окном, — у нас там одежда и всякое такое...

Коля не закончил фразы, потому что открылась дверь, и мы невольно отскочили друг от друга, а в двери показался тот самый дяденька из нашего дома с усами и палкой.

Он как-то нехорошо посмотрел на нас и сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте...

Я знаю, что он подумал. Он подумал, что мы с Колей целовались. Как только не стыдно ему такое думать, когда у Коли погиб отец, и вообще...

— Здравствуйте, Юрий Митрофанович, — ответил Коля. — Я все хотел у вас спросить одну вещь... Батя перед уходом говорил, что вы придете, а вы потом не пришли...

Я так насторожилась, что услышала, как стучат мои маленькие часики и как не в лад им стучат часы за дверью на кухне.

— А разве я тебе не говорил? — сказал Юрий Митрофанович, усаживаясь на стуле и ставя свою тяжеленную палку между коленями. — Я его встретил...

— Где? — быстро спросила я.

Юрий Митрофанович с удивлением и, как мне показалось, с насмешкой посмотрел на меня и ответил, обращаясь к Коле:

— На троллейбусной остановке.

— Значит, вы были последним, кто его видел. — Коля помолчал, подошел к столу, сел против Юрия Митрофановича и спросил: — Что он вам говорил?

— Да ничего не говорил... Сказал, что вернется часа через два. Извинялся, что уходит.

— А по какому делу вы должны были увидеться с ним в тот вечер?

— Без всякого дела, — не сразу ответил Юрий Митрофанович. — Мы с твоим отцом были друзьями. А встреча с другом — сама по себе дело.

Я знала, что мне теперь следовало спросить. Мне нужно было спросить: "А куда вы пошли после того, как встретились с Богданом Осиповичем на троллейбусной остановке?" Но Юрий Митрофанович мог ответить: "Пошел домой". И что я могла возразить против этого? И, может быть, он действительно пошел домой... Но все равно я с отвращением смотрела на зажатую между колен налитую свинцом толстую бамбуковую палку.

Елена Евдокимовна принесла чайник, и мы пили чай с болгарским сливовым вареньем, которое называется "конфитюр", и за чаем шел разговор о ближайшем переезде. Юрий Митрофанович сказал, что он говорил с Семеном Алексеевичем это с милиционером дядей Семеном — и что милиция даст машину, чтобы перевезти мебель, и он тоже придет помогать. А Елена Евдокимовна сказала очень спокойно, — что жалко, что Богдан Осипович не дожил до этого времени.

Я выпила чай очень быстро, потому что мне хотелось поскорей услышать то, что начал рассказывать Коля, но Елена Евдокимовна налила мне еще стакан, и я его тоже быстро

выпила, хотя чай был горячий, и мне обварило язык, а потом не выдержала и сказала:

— Нам еще нужно выучить географию... Коля меня понял и поддержал:

— И сделать задачки по физике.

Юрий Митрофанович посмотрел на нас как-то странно и скоро ушел, а Елена Евдокимовна тоже ушла на кухню. И тогда Коля сказал:

— Когда складывали вещи, мать сказала, чтобы я примерил батин пиджак. Я уже с ним одного роста. Только худее. И в пиджаке лежал этот блокнот... Коля вынул из кармана небольшую записную книжку в зеленой пластмассовой обложке... — Тут всего две записи, — сказал Коля, не выпуская книжки из рук. — Вот.

Он дал мне блокнот. Довольно разборчиво в нем было написано:

1. Не допускать загрязнения вещественных доказательств.
2. Прикреплять ко всем вещественным доказательствам этикетки.
3. Указывать на этикетке фамилию человека, обнаружившего доказательство, где оно находилось.
4. Волосы, нитки и др. завернуть сначала в белую бумагу, а потом положить в конверт.
5. Не употреблять грязную тару.
6. Пули и другие мелкие предметы сначала завернуть в вату, а затем положить в картонные коробки.
7. Для записей употреблять только простой графитовый карандаш.
8. На этикетках к жидкостям не употреблять чернил.

После этого на отдельной страничке было записано и обведено овальной чертой слово Титан. Я перевернула еще несколько страничек, но там уже не было никаких записей.

— Дальше пусто, — сказал Коля.

— Что же это значит?

— Кое-что значит. Видишь, запись про вещественные доказательства сделана пером, чернилами? А "Титан" записан карандашом?

— Вижу.

— Значит, они сделаны в разное время. Ну, вещественные доказательства это у них, наверное, такие занятия были. Или лекция. У бати в тетрадках много таких штук записано. Я ж тебе давал книжку про следы... А вот "Титан"... Как ты думаешь, про что это?

— Может быть, про какого-нибудь сильного человека?.. Который ходит с пудовой палкой?..

— Ты что — сдурела? — удивился Коля. — Юрия Митрофановича мать вынесла на себе совсем

без сознания... Ее ранили, когда она его тащила. Они потом вместе в госпитале лежали. У него одного легкого совсем нету, а в другом осколки.

Мне стало очень стыдно. Мне стало так стыдно и жарко, что у меня выступили слезы.

— Да ты не реви, — сказал Коля. — Я — ничего... "Титан" — это, помнишь, мастерские... когда мы на Подол ходили?..

— Помню.

— Важно было понять, куда ходил батя. И теперь мы, кажется, это поняли.

— Нет, — ответила я, — я не понимаю. Вспомни сам, это было в субботу. В субботу — короткий день... Для чего Богдан Осипович мог пойти после работы в мастерские, когда там никого нет?

— А если там что-то хотели украсть? Ну, вот, скажем, передать через забор какие-то вещи, а батя про это узнал и пошел туда. А они на него напали.

— Почему же он пошел один, и в обыкновенной одежде, а не в милицейской? И никому не сказал про это?

— Да, — согласился Коля, — и без оружия? А кроме того, это не его район. Но, может, там работают в две смены?.. В общем, в этом нужно разобраться...

— Послушай, Коля, — сказала я. — Когда мы с тобой поссорились... и я сказала на тебя Самшитик, ну, и вообще... Так я тогда была неправа. Я это давно хотела тебе сказать.

Коля грустно улыбнулся, осторожно взял меня за косичку и несколько раз подергал ее. Он прежде никогда этого не делал. А я ему растрепала волосы. Я тоже прежде этого никогда не делала. Затем Коля отпустил косичку и сказал:

— Мне кажется, это было так давно, как будто прошло уже много лет. И как будто мы тогда были совсем маленькими и смешными. И все-таки жалко мне, что этого больше не будет... Птицелета, и стихотворений, и другого... Я не хотел тебе говорить. Я и маме еще об этом не говорил. Но вот закончу четверть и больше не пойду в школу.

— Как — не пойдешь? — испугалась я.

— То есть пойду, но в другую. В вечернюю. Маме трудно.

Нужно мне идти на работу. Дядя Семен обещал помочь устроиться. Нужно работать.

Люди, даже когда они стоят рядом, очевидно, все время находятся друг от друга на разном расстоянии — то ближе, то дальше, в зависимости от того, как они относятся друг к другу. И если бы была такая линейка, которой можно измерять это расстояние, то Коля, который, когда подергал меня за косичку, был совсем рядом, оказался бы сейчас за сто километров. Я подумала, что он совсем большой и занят взрослыми и серьезными мыслями, а я со своими стихами, со своими уроками, со своими выдумками и обидами веду себя совсем как маленькая девочка.

— Что это глаза у тебя сегодня на мокром месте? — сказал Коля. — Я теперь про все это иначе думаю. Можешь называть меня Самшитиком или как хочешь, а я все равно на тебя не обижусь...

На кухне послышался какой-то шум, и в комнату вошли Витя, Сережа и Женька Иванов. Все они держали в руках шапки, все покраснелись, как будто бежали.

— Хлопцы, — сказал Сережа, обращаясь ко мне и давясь от смеха, — а мы Петьку засунули в урну.

— В какую урну? — спросила я.

— В уличную. Он, может, там до сих пор сидит. Петька толкнул Женьку в снег, а мы как раз наскочили, схватили его и засунули ногами в урну. Знаете, такую из бетона. У него ноги длинные, а урна узкая, и он там застрял.

Я посмотрела на Сережу, и на Витю, который, очевидно вспомнив, как Петька застрял в урне, мстительно улыбнулся, и на Женьку Иванова и подумала, что я тоже стала намного старше.

Но не понадобилось много времени, чтобы я поняла, что это еще не так.

Сережа прыснул, вспомнив еще что-то смешное, и предложил:

— Послушайте... анекдот. У девочки спрашивают: "У тебя есть братья или сестры?" — "Нет, — отвечает девочка, — но зато у меня три папы моей первой мамы и две мамы моего первого папы".

Ребята посмеялись, а я покраснела. Нет, я понимала, что Сережа имел в виду совсем не меня, да он и не знал, что мой папа мне не родной отец. И все-таки мне было очень неприятно. Ведь у меня, почти как у этой девочки из анекдота, были два папы, а значит, и две мамы. Правда, эта тетя, на которой женился мой отец, называется не мать, а мачеха. "Но интересно, — думала я, может ли у человека быть одновременно и мать и мачеха?" Так какое-то растение называется, а у людей так не бывает. Мачеха — это когда нет родной матери...

А как эта мачеха относится к моему родному отцу? Любит, как моя мама папу? Или ссорится с ним? И какой он человек на самом деле?

В своих письмах мой родной отец подчеркивал, незаметно, а подчеркивал, что он там, в Новосибирске, большой начальник. Что у него машина, что живут они в отдельном доме — это называется в особняке, а выходные дни они проводят на даче, что он занимается очень ответственной, важной и даже секретной работой. И особенно неприятно было мне это читать, когда моего папу уволили из редакции и он уже не занимался своей важной и ответственной работой. Если бы мой родной отец знал об этом, может быть, он и не стал бы мне писать о своих успехах. А может быть, и наоборот. Я его не знаю.

Несколько раз, и вот теперь снова, мой отец писал, чтобы я приехала к нему гостить на летние каникулы. А мне совсем не хочется ехать. Но почему он так на этом настаивает? У меня есть теория. Вероятно, ему не хватает той любви, которую он имеет. Человеку нужно, чтобы его любили. Это свойственно людям. А нашей семье — мне, папе и маме — той любви, которую мы имеем, вполне достаточно... И все-таки было бы хорошо, если бы Коля когда-нибудь еще так тихо подергал меня за косичку, а я растрепала ему волосы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Евгения Лаврентьевна рассказывала нам о гремучей смеси, той самой смеси водорода и кислорода, о которой я слышала, еще когда была совсем маленькой, и говорила, что еще в XVIII

веке французский химик, по имени де Розе, сделал однажды такой странный опыт: он решил проверить, можно ли дышать чистым водородом. Этот химик вдохнул водород, но ничего не почувствовал и стал сомневаться в том, водород ли это. Тогда он, чудак, выдохнул для проверки этот газ на пламя горелки, а у него в легких, понятно, образовалась эта самая гремучая смесь. "Я думал, что все мои зубы превращаются в пыль", рассказывал потом этот самый де Розе, чудом оставшийся в живых.

В эти дни меня не покидало странное ощущение, что все мы, вся наша компания надышалась, как этот де Розе, гремучей смесью, и с минуты на минуту мог произойти взрыв.

Началось это с того, что мы с Колей опоздали в школу. У нас уроки начинаются в девять утра, а выхожу я из дому без четверти девять, потому что школа близко. Коля меня догнал в нашем парадном, когда я спускалась на следующую площадку. По-видимому, он забрался выше и подждал, пока я выйду. У него было бледное и словно похудевшее лицо, и он слегка заикался, как в тех случаях, когда не знал чего-нибудь у доски.

— Я напал на след, — сказал Коля.

И он рассказал, что решил вчера постоять возле этих мастерских "Титан". Он хотел посмотреть, может, покажется какой-нибудь человек, которого он прежде видел и с которым мог прежде встречаться его отец.

— Там, может, ты заметила, — говорил Коля, глядя под ноги и ступая как-то боком, — стоит такая будочка. В ней летом водой торгуют. Через нее видно. Я стал за ней. И знаешь, кто вышел из этих мастерских?

— Кто?

— Догадайся.

— Не знаю... — Я остановилась. Я очень боялась назвать это имя. — Дядя Семен?

— Нет, — сказал Коля. — Никогда не догадаешься... Оттуда вышла та самая женщина, что приходила к нам на похороны... Ну, помнишь, в такой круглой шапке... Она медсестрой работает...

— И ты думаешь, что это она?..

— Что значит "она"? — удивился Коля. — Нет, конечно. Но, может, она связана с людьми, которые это сделали. Почему она раньше к нам никогда не приходила, а на похороны пришла? Что она делала в этом "Титане"? Я за ней шел до самой больницы. Я сто раз думал, что она меня заметит... А теперь нужно проследить, с кем она встречается, и узнать, к кому она ходила в "Титан". За ней нужно следить. И мы узнаем...

— Я видела такой венгерский фильм, — сказала я. — Про шпионов. Там американского шпиона — а может быть, и не американского — ловят наши, ну, венгерские милиционеры. Они, конечно, переодетые. И когда они следят за этим шпионом, за ним идет сначала один — в ресторан, а когда он выходит из ресторана, за ним идет уже другой, а потом, когда он садится в автобус, с ним садится третий. Поэтому он не может догадаться, что за ним следят, а потом за ним гонятся на автомашине и ловят его. Надо поговорить с ребятами. Чтоб следить за ней по этому методу.

— Да, — сказал Коля. — Нужно поговорить с ребятами. Я тоже об этом думал.

На первом уроке был русский, и хотя мы опоздали почти на десять минут, Елизавета Карловна ничего не сказала и не спросила, почему мы опоздали. Теперь, после смерти Богдана Осиповича, учителя не делали Коле замечаний и даже не вызывали его, а он сидел рядом со мной, очень молчаливый, и рисовал на промокашке кубики и звездочки и только иногда ежилась, как от холода.

В конце урока Коля, как это он умеет делать, почти не разжимая губ, сказал мне:

— После уроков поговорим с ребятами. Только нужно будет как-нибудь отшить Женьку Иванова.

— Почему "отшить"? — обиделась я за Женьку. — Тогда можешь и меня отшить. Женька еще никогда никого не подводил...

— Алексеева, — сказала Елизавета Карловна, — я в твоём возрасте эти проблемы решала не на уроке.

В классе засмеялись, а я подумала, что этих проблем Елизавета Карловна никогда не решала.

— Ладно, — сказал Коля после урока. — Я ведь говорил, что мы больше не будем ссориться. Хочешь, чтобы был Женька, — пускай будет. Я только хотел тебя попросить... — Коля замялся. — Чтобы ты сама рассказала ребятам про это...

— Как — сама?

— Ну, то есть я буду с тобой... Но чтобы рассказывала — ты.

— Хорошо, — согласилась я.

Мы собрались после уроков в нашем закоулке школьного двора.

— Сейчас, — объявил Сережа, — профессор Алексеева сделает научный доклад про свою новую теорию птицелета... Нужно поймать десять тысяч воробьев, каждому привязать за лапку нейлоновую ниточку, за другой конец ниток держится летчик, и птицелет готов...

Никто не улыбнулся. Наши ребята понимают, когда что-то всерьез.

— Хватит трепаться, — сказал Витя. — Что случилось?

— Сейчас узнаешь, — ответил Коля. — Только я хочу предупредить... Это такое дело, что если растреплете...

— Лишь бы ты сам не растрепал, — обиделся Витя. Коля требовательно и недоверчиво смотрел на Лену.

— Я уже раз давала слово, — надула губы Лена. — А если вы с Олей не верите, так я могу уйти.

— Да хватит, — сказал Витя. — Что там такое?

— Колин папа не попал под трамвай, — сказала я. — Понимаете? Вернее, он попал, но умер не от этого. Его убили..!

Ребята молчали. Сережа недоверчиво улыбнулся, а Женька открыл рот, собираясь что-то сказать, но снова закрыл его.

— Сначала, когда мне Коля рассказал про это, я тоже сомневалась. А потом пеняла, что это — правда.

— А факты? — спросил Витя.

— Сейчас я расскажу про факты.

И я им рассказала всю историю сначала: и про то, что Богдан Осипович не пил алкогольных напитков, и про вагоновожатого Стеценко, и про табачную фабрику, и про мастерские "Титан".

— Я знаю, кто его убил, — сказал Женька. — Его убили шпионы. Они всегда так делают.

— Подожди, Женька, — отмахнулся от него Витя. — А как же следователь?.. Про которого Оля говорила? — спросил он у Коли. — Ему же этот ваш вагоновожатый сказал, что через рельсы переходили три человека?..

— Сказал, — мрачно ответил Коля. — И я ему первый сказал, что батя непьющий. Но он не обратил внимания. Он какой-то этот... бюрократ. В очках. В глаза не смотрит.

— А если эта женщина в самом деле шпионка? — вмешалась Лена. — И заметит, что мы за ней следим? Может, она в сумочке или даже в пальто, в кармане, носит маленький револьвер?

— Меня она не узнает, — сказал Сережа. — Я могу переодеться даже в платье. Я могу так менять лицо, что сам на себя не похож.

И Сережа скорчил такую гримасу, что нос у него съехал куда-то на левую щеку.

— Ну зачем это ты? — словно целясь, посмотрел на него Коля. — С тобой всерьез, а ты как маленький...

— Да я — ничего, — смутился Сережа.

— Понятно, — сказал Витя. — Дело серьезное. Нужно все хорошо продумать. Тебя она видела? — спросил он у Коли.

— Видела. Оля ж говорила. Она на похоронах была.

— Понятно. А тебя? — спросил он у меня.

— Меня тоже.

— И это понятно. Может, она вас даже сфотографировала. Теперь есть такие аппараты шпионские в часах.

Я хотела возразить, что этой тете совершенно незачем было нас фотографировать, даже если бы она в самом деле была шпионкой, а кроме того, совсем не доказано, что она шпионка, но Витя продолжал, и я просто не успела ему возразить.

— Значит, следить за ней будем мы вчетвером — я, Сережа, Лена и Женька. А вы с Колей будете у нас в резерве. Дежурить мы будем по два человека, и если она зайдет, скажем, в магазин, где у нее явка, то один, ну, к примеру, Оля, останется снаружи, а Женька пойдет за ней внутрь. Понятно?

— Понятно, — сказала я, посмотрела на Колю и сейчас же отвела глаза.

Мне это не нравилось. Мне это вдруг напомнило игру, в которую мы играли на нашем дворе, когда были меньше, — в "сыщика-разбойника". Колиного папу, Богдана Осиповича, в самом деле убили. И мне казалось, что нехорошо превращать это в игру. Но я не знала, что предложить.

— Пошли по домам, — сказал Витя. — Ровно через час сбор.

Начнем с больницы. В больницу пойдут Оля и Лена. Ты ее узнаешь? спросил он у меня.

— Узнаю, — ответила я неуверенно.

— Постарайся узнать. И незаметно покажешь на нее Лене. А Лена выяснит, как ее фамилия, а может быть, и адрес. Жалко, что пропал твой фотоаппарат. Вот сейчас он бы нам пригодился. Хорошо бы ее сфотографировать... Ну, пошли. Через час соберемся у моего парадного. Домой пойдем по одному, чтобы не обращать на себя внимания. Ты, Оля, иди первой.

Это мне уже показалось совсем бессмысленным — почему нельзя обращать на себя внимание и почему нужно идти по одному? Но я не стала спорить и пошла домой.

Когда я через час подошла к Витиному подъезду, там уже стояли Витя, Сережа и Лена, а Коли и Женьки Иванова не было. Витя в руке держал тросточку, похожую на ту, которую когда-то поломал Петька, но без надписи.

— Так не годится, — сказал Витя, постукивая тросточкой об асфальт. Раз договорились — значит, не опаздывать. Ждем ровно пять минут. Не придут отправимся без них.

— А может быть, у Коли что-нибудь случилось, — сказала я.

— Слушайте загадку, — предложил Сережа. — Девочка стоит вечером под дождем на троллейбусной остановке и ждет троллейбуса. Вдруг к ней подходит некто в сером и говорит: "Я тебе не отец, но ты мне — дочь". Кто это был?

К нам подошел Коля.

— Матя в магазин послала, — сказал он смущенно. — За капустой. А в овощном только одна продавщица. Вторая — гриппом заболела...

— Кто же это все-таки был? — спросила я у Сережи.

— А ты отгадай.

— Отчим?

— Нет. При чем здесь отчим?

— То была мама этой девочки, — сказал Витя. — Пошли. Больше никого ждать не будем.

Значит, это была мама. Как я сама не догадалась? Но, может, Витя уже слышал эту загадку?

Мы пошли к троллейбусу, и на самой остановке нас догнал Женька Иванов. У него было красное зареванное лицо. Очевидно, "тираны-родители" не пускали его на улицу, а требовали, чтобы он сел за уроки.

Только в троллейбусе я сообразила, что у меня нет ни копейки денег и что мне нечем

заплатить за билет. Я спросила у Коли, есть ли у него деньги.

— На билеты есть, — ответил Коля. — Сколько нас?

— Я уже взял билеты! — крикнул нам Витя.

Какая-то молодая женщина с подрисованными к вискам уголками глаз, как это теперь делают, и в шубке из искусственного каракуля сказала смешливому дяденьке, который сидел с ней рядом:

— Посмотри, какая хорошенькая девочка.

Я оглянулась на Лену. Но они смотрели не на нее. Они смотрели на меня. Лена была сзади них, и они ее просто не видели.

Я подумала, что о Лене эта тетя не сказала бы "хорошенькая". Она бы сказала "какая красивая девочка". Но все равно я покраснела, и мне было приятно.

Троллейбусом и трамваем мы приехали на Подол. Витя спросил у какого-то встречного старого дяденьки, который очень кашлял, где находится поликлиника. Дяденька прокашлялся, плюнул на землю и ответил, что это близко.

— Я ведь там был, — сказал Коля.

Я не знаю, как это получилось, но Витя сразу стал у нас всем распоряжаться, хотя убили совсем не его папу. Однако его все слушались, даже Коля и я. Наверное, всегда бывают какие-то люди, которые берут на себя руководство, и если даже они могут распорядиться хуже других, их уже все равно слушают.

Двор поликлиники был окружен очень высокой и очень толстой белой стеной, и Витя сказал, что тут, по-видимому, раньше был монастырь, потому что осталась такая стена и из-за стены была видна церковная колокольня, но без креста.

Во дворе поликлиники был садик, а посередине этого садика стояло странное сооружение — высокий квадратный столб на фигурном пьедестале, а на столбе — квадратные циферблаты. И из каждого циферблата торчала узкая фигурная металлическая дощечка. Это были настоящие солнечные часы, и Витя сказал, что если бы было солнце, то и сейчас по ним можно было узнать время.

— Ну, хватит, — сказал Витя. — Мы сюда не на экскурсию пришли. Мы вас подождем, а вы с Леной найдите эту женщину и выясните, как ее фамилия и как ее зовут.

Мы с Леной пошли в поликлинику. Лена внешне выглядела совсем спокойной, а я очень волновалась. Я боялась, что нас не пустят. То есть, я понимала, что ко мне нельзя придраться, ведь могло случиться так, что я пришла бы сюда за справкой к врачу. Или, скажем, чтобы передать какому-то человеку, который тут работает, письмо от папы. Но это было бы совсем другое дело. А так — мне было очень боязно.

— Снимите пальто, — сказала нам тетенька в несвежем, с желтыми потеками халате. Она стояла возле раздевалки.

Мы разделись, тетенька нам дала номерки. Мы поднялись на второй этаж и вошли в коридор, в котором было много дверей. Перед каждой дверью сидели и стояли люди. Они ждали своей

очереди на прием к врачу.

— Скажем, что ищем маму, — почти не разжимая губ, как говорил в таких случаях Коля, когда хотел, чтобы его не услышали, сказала Лена. — Будем заглядывать в каждую дверь. А если ты ее увидишь, так ты мне скажешь, и я останусь у двери... А ты выйдешь к ребятам...

Лена заглянула в дверь, которая была прямо перед нами.

— Мы не к доктору, мы только заглянем, — сказала она женщинам, ждавшим своей очереди. — Мы ищем маму.

В комнате мы увидели почти совсем голую толстую тетеньку и мужчину-врача. Он ее осматривал.

— Что вам тут?.. — закричал он на нас, и мы скорее захлопнули дверь.

— А если тебя спросят, как фамилия твоей мамы? — спросила я Лену.

— Я скажу — Костина. Моя мама в самом деле врач.

— И она тут работает?

— Ну что ты? — удивилась Лена так, как будто все обязаны знать, где работает ее мама. — Она научный сотрудник в институте Богомольца.

Мы обошли весь коридор. Мы не пропустили ни одного кабинета. А в одну дверь мы заглядывали дважды, потому что там было две комнаты. На нас кричали и больные и врачи. И все-таки женщины, которая нам была нужна, мы нигде не увидели.

Мы отдали номерки, надели пальто и вышли на улицу к нашим ребятам.

— Ничего, — сказал Витя. — Может быть, она работает в другом месте. Мы пока не теряли времени напрасно и выяснили, что тут, кроме поликлиники, еще больница и лаборатория. Поэтому есть новый план... Скоро конец рабочего дня. Выход из этого двора только один — через ворота. Мы будем на улице, за воротами. Ты, Коля, стань в парадном, которое против ворот. С тобой пойдет Женька. Дождемся, пока будут выходить врачи и всякие сестры. Если увидишь ее — вышлешь к нам Женьку. Смотри внимательно. А Оля станет за нашими спинами и тоже будет смотреть. Важно ее не пропустить.

Витя сделал своей тросточкой выпад, как шпагой.

Мы ее не пропустили. Эта женщина вышла из ворот, я ее узнала еще до того, как успела рассмотреть, — у меня заколотилось сердце. В руках у нее был чемоданчик. Она села в "Москвич" с красным крестом на дверцах и уехала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Ее звали Вера. Фамилия — Старостенко. А по отчеству — Петровна. По виду она была молоденькой, но фактически оказалась совсем старой — ей уже было двадцать четыре года. Она работала медсестрой в "неотложной помощи". Это вроде "скорой помощи", но не для серьезных случаев, а когда кто-нибудь руку порежет, или сердце заболит, или в поликлинике уже закончился прием, то обращаются в эту "неотложную помощь".

На работе Старостенко занималась в основном тем, что разговаривала и, судя по выражению их лиц, сплетничала с докторшей, с которой она работала вместе, а кроме того, она делала уколы людям, приходившим на прием.

Витя принес бинокль с просветленной оптикой. Если посмотреть на стекла под углом, то кажется, что они фиолетового цвета. Окна "неотложной помощи" выходили в такой закоулок между забором и домом, и если просто так посмотреть на эти окна, то ничего не было видно — они казались черными. Но в бинокль было совершенно ясно видно все, что происходило внутри. Я никогда не знала, что бинокли обладают таким свойством.

Прежде я видела эту женщину в шапке, и только теперь я заметила, что у Старостенко был такой маленький лоб, что сначала это даже озадачивало волосы росли от самых бровей, но все равно, несмотря на это, она была очень хороша собой.

Если эта Старостенко действительно была шпионкой, то она избрала такую работу, что ее очень трудно разоблачить. Сначала мы пробовали следить за людьми, с которыми она встречалась. Но выяснилось, что это совершенно невозможно, потому что в "неотложную помощь" заходила масса людей, и любой из них мог прийти, как выражался Витя, "на явку". А кроме того, время от времени она то одна, то с врачом уезжала в этом "Москвиче" с красным крестом на вызовы. Попробуй проследить за каждым, с кем она встречалась. Для этого нужно было бы привлечь всю нашу школу.

Кстати, в школе дела у нас обстояли совсем плохо. В первый раз за всю свою жизнь Лена получила двойку. По физике. Елизавета Карловна сказала, чтобы ее мама пришла в школу. Я думала, что Лена будет расстраиваться и плакать, но Витя сказал на переменке, что мы обязаны жертвовать своими личными интересами ради общественных интересов, и Лена с ним полностью согласилась.

На следующем уроке, на алгебре, двойку получил Сережа. Возможно, Климент Ефремович поставил бы ему тройку, если бы не Сережины шуточки.

Сережа решил уравнение, но когда Климент Ефремович спросил у него правило, Сережа стал путаться. Климент Ефремович удивился и сказал, что раз человек умеет пользоваться правилом, то он должен уметь его сформулировать, и что это был очень легкий вопрос.

— Вопрос, может быть, и легкий, — нахально ответил Сережа, — но вот ответ...

В классе раздался нездоровый смех, и Сережа с преувеличенным отчаянием на лице пошел на место.

Правда, на переменке Сережа говорил, что он тоже пожертвовал своими личными интересами ради общественных. Он, конечно, шутил, но и в самом деле то, что Витя назвал нашими "общественными интересами" отнимало очень много времени, и тут уж было не до отметок.

Жизнь шла своим чередом, и мы по-прежнему занимались у Вити нашими химическими опытами и поисками реактивов. Правда, теперь во время опытов мы разговаривали не столько о птицелете, сколько о книжках про шпионов.

Хотя мы следили за медсестрой Верой Старостенко уже вторую неделю, ничего подозрительного мы пока что не заметили.

В мастерские "Титан" она больше не ходила. Теперь я понимаю, какая разница между кино и жизнью: в кино шпион занимается шпионажем, и поэтому за ним легко проследить, а в жизни

он делает уколы сотням людей, и проследить за ним совершенно невозможно.

Впрочем, один раз я наблюдала странную и нехорошую встречу. Я дежурила в паре с Витей, он мне отдал свой бинокль с просветленной оптикой, а сам пошел проверить, нет ли радиоустановки в этом "Москвиче" с красным крестом. Я посмотрела в бинокль и увидела, что Вера Старостенко одна, что докторши, с которой она работает, нет, что в комнату вошел какой-то подозрительный человек в берете и сером пальто с поднятым воротником, что он хотел закрыть дверь изнутри на ключ, а она не пускала его это сделать, но он все-таки закрыл дверь и стал ее целовать, то есть не дверь, а эту Старостенко, и она его тоже стала целовать, и я понимала, что на это нельзя смотреть, но все-таки смотрела и все видела.

Когда вернулся Витя, он сказал, что в "Москвиче" есть радиоприемник, который, возможно, используется и как рация, что он сумел все хорошо исследовать, потому что водитель ушел в "неотложную помощь", и спросил у меня, что он там делал.

Значит, это был водитель "Москвича". Я его просто не узнала.

— Так, ничего, — ответила я. — Разговаривал с этой Старостенко.

После этого я начала болтать всякую чепуху и задавать глупые вопросы, чтобы отвлечь Витю и не давать ему бинокль, и Витя, по-моему, очень удивлялся, что со мной случилось и почему я вдруг так поглупела.

Я решила, что не скажу ребятам о том, что я видела, потому что об этом нехорошо рассказывать.

Каждый вечер мы наспех готовили уроки и подводили итог. Особенно трудно было с уроками Женьки Иванова: в пятом классе очень сложные арифметические задачки, мы их решали все вместе и все равно ответ не всегда сходился с задачником. А итогов мы тоже пока никаких не имели, и Сережа сказал, что, может быть, это вообще случайное совпадение: могла же эта Старостенко пойти в мастерские "Титан", потому что там кто-то сильно порезался, и он знает, как это проверить. Он хотел подойти прямо к Старостенко, громко сказать ей: "Привет из "Титана"!" — и посмотреть, как она на это будет реагировать. Мы его еле отговорили.

Сегодня на большой переменке я подумала, что обо мне снова что-то написали в газете. Может быть, подумала я, напечатали еще какое-нибудь стихотворение из тех, которые были в тетрадке. Мне хотелось, чтобы это было стихотворение про самолет, потому что я до сих пор в душе считала, что наша стенгазета неправильно сделала, когда не поместила его. Интересно, что бы они запели, если бы увидели, что это стихотворение напечатали не в стенной, а в настоящей газете. Но я стеснялась спросить, что там такое, потому что краем уха слышала, как о газете разговаривали две мало знакомые мне учительницы из младших классов, и одна из этих учительниц сказала обо мне: "Тише, вот она".

Однако, как я об этом узнала позже, в газете были помещены совсем не мои стихи, а папин фельетон. Елизавета Карловна подозвала меня и сказала, чтобы я передала папе, что учителям очень понравился его новый фельетон я что они его поздравляют, а мне было стыдно, что я ничего об этом не знаю, и я сказала: "Спасибо, обязательно передам", и кивала головой так, как будто я не только читала этот фельетон, но даже знала о нем заранее.

В этот день наша учительница зоологии выполнила свое давнее обещание. У нас в школе нет микроскопа, но она где-то достала микроскоп, потому что уже давно собиралась нам показать, как выглядит увеличенная капля воды.

Мы по очереди смотрели на эту каплю, и каждого приходилось оттаскивать от окуляра, и ребята просили учительницу, чтобы она не забирала микроскопа, что они будут не спеша рассматривать эту каплю после уроков.

Я тоже посмотрела в микроскоп, и то, что я увидела, мне совсем не понравилось. Во-первых, мне было неприятно, что в прозрачной капле воды столько всяких микробов. То есть теоретически я знала об этом и раньше, но одно дело знать теоретически, а другое дело увидеть на практике, как в воде, которую мы пьем, плавают существа, похожие на креветок и мокриц. А во-вторых, я подумала, что эти существа так малы в сравнении с нами, что мы их рассматриваем в микроскоп, но, может быть, где-то во Вселенной существуют такие громадные существа, что они со своих галактик рассматривают нас в свои микроскопы.

В общем, я много раз замечала и на себе и на других, что, когда у человека плохое настроение, то все ему кажется не так, и когда ему предлагают мороженое, то он говорит, что не хочет мороженого, потому что он простужен, а когда ему предлагают конфеты, он говорит, что не хочет конфет, потому что у него болят зубы, а когда его зовут в кино, он говорит, что не хочет в кино, потому что смотрел этот фильм уже два раза.

После уроков мы с Колей обошли несколько киосков, пока купили газету с папиным фельетоном. Ее уже везде раскупили. Мы взяли газету, отошли в сторонку за киоск и стали читать этот фельетон про себя, но вместе. Коля читает медленнее меня, и когда он засмеялся, я не могла понять, что его рассмешило.

Фельетон этот назывался "Опровержение министра". В нем писалось:

Я больше не пишу фельетонов. И искренне восхищаюсь гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию литераторов, отдавших свои перья этому, увы, нелегкому жанру.

Мои ученые друзья недавно подсчитали, что в среднем продолжительность жизни фельетонистов на восемь лет меньше, чем у очеркистов, выступающих под рубрикой "О людях хороших", и на одиннадцать с половиной лет меньше, чем у поэтов, публикующих свои стихи исключительно в дни праздников. Фельетонисты рано седеют, их чаще оставляют жены, и язва желудка, а также гипертония и диабет являются их профессиональными заболеваниями. В некоторых редакциях фельетонистам уже начали выдавать молоко "за вредность производства", и я считаю это мероприятие своевременным и заслуживающим самого широкого распространения.

В чем же дело? А дело, оказывается, в опровержениях, в тех самых опровержениях, классическая формула которых была изложена более трех тысяч лет тому назад в одном восточном сказании: во-первых, я но брал этого горшка, во-вторых, когда ты мне его давал, он был с трещиной, а в-третьих, когда я тебе его возвращал, он был целым.

В каждой редакции по каждому фельетону заводится "дело". Некоторые из этих дел по количеству заключенных в них листов и содержанию соперничают с полным собранием сочинений Александра Дюма-отца, а по стилю и настроению — с перепиской между князем Курбским и Иваном Грозным.

Фельетонист в своем сочинении говорит о чем-то: "черное". А опровергатель говорит: "белое". Этим обычно и начинается "дело". Далее фельетонист на основании неопровержимых документов за номерами такими-то от чисел таких-то доказывает: "несомненно, черное". А опровергатель создает комиссию, призывает в свидетели соседей и присылает в редакцию акт с решительным утверждением: "белое, но с отдельными, редко расположенными черными

точками". На этот раз приходится попотеть фельетонисту. Он посещает членов комиссии, которые, оказывается, не только не подписываются на газету и не читали фельетона, но и вообще в это время были в далеком арктическом плавании. И снова пишет: "черное".

Но не дремлет и опровергатель. Заручившись справками из домоуправления, а также с места службы своего очень авторитетного родственника, он утверждает: "серое, и лишь местами черный фон".

Фельетонист посещает и домоуправление, и место работы авторитетного родственника, и снова пишет письма, а копии вкладывает в "дело". И тут ему уже не до новых фельетонов, и настроение у него скверное, и он отказывается пойти с женой на новую кинокомедию, теряет ключи от квартиры и непочтительно отзывается о своем редакторе именно в ту минуту, когда редактору почему-то вздумалось покинуть кабинет и оказаться за спиной раздражительного фельетониста.

Если кто-либо из читателей слышал о фельетоне, в ответ на который не были присланы опровержения, пусть сообщит об этом: этот факт заслуживает того, чтобы о нем упомянули в Большой Советской Энциклопедии.

— Конечно, — жаловался недавно один мой знакомый фельетонист. — на эти опровержения можно бы и не обращать такого внимания, как мы это делаем, не отдавать всех своих сил опровержению опровергателей. Но тогда теряется весь смысл нашей работы: вместо того чтобы устранить недостатки, о которых мы пишем, наказывать виновников, от нас отделяются "опровержениями".

— Еще как отделяются, — вздохнул, в свою очередь, и я.

Некоторое время тому назад был опубликован мой фельетон "Маленькое счастье". В нем говорилось о начальнике главка В. Л. Костенко, в наклонностях которого было что-то недоброе, что-то постыдное, что-то чуждое нашему времени, говорилось о том, как этот человек стремился спрятать эти свои качества от общественности, зажимая и преследуя малейшее слово критики. Любого человека, который придерживался другого мнения, о чем бы ни шла речь — даже о прочитанной книге, даже о просмотренном фильме, В. Л. Костенко стремился уничтожить всеми доступными ему средствами.

В ответ на фельетон из министерства в редакцию поступило письмо, подписанное самим министром М. Н. Усовым. "В результате проведенной министерством проверки, — говорилось в этом письме, — установлено, что приписка к плану, на наличие которых указывалось в фельетоне Николая Алексеева, фактически не было".

Я не закален в фельетонном ремесле и, получив это письмо, сознаю, просто растерялся. Черт побери! Ведь я собственными глазами — собственными! — видел документы, которые показывали, что к плану были сделаны приписки. И начальник главка В. Л. Костенко не отрицал этого.

Обидели и удивили меня и те строки письма, где говорилось: "Почему т. Алексеев, поднимая такой важный, принципиальный вопрос, как критика руководства учреждения, так беспринципно выбрал объект для примера?" По-видимому, по мнению министра М. И. Усова, пожилая женщина, которую незаконно судили, которую преследовали только за то, что она покритиковала на собрании начальника главка, недостаточно "принципиальный" объект для примера.

Мне пришлось затратить немало труда, чтобы доказать, что я не лжец, что у министра не было

оснований для опровержения фельетона.

Но вот минуло немного времени, и начальника главка В. Л. Костенко пришлось уволить с работы. В приказе министерства приводились те же самые факты, которые так легко отрицались в опровержении: В. Л. Костенко сняли за приписки, за обман государства, за зажим критики и грубость с подчиненными. Больше того, открылись такие обстоятельства, которых я даже не подозревал: акт финансовой ревизии показал, что В. Л. Костенко был просто нечист на руку.

После этого шли выписки из документов, и мой папа критиковал министра за то, что министр защищал "честь мундира". А заканчивался этот фельетон теми же словами, какими он начинался:

Я больше не пишу фельетонов. И искренне восхищаюсь гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию литераторов, отдавших свои перья этому, увы, нелегкому жанру.

— Вот дает! — совсем как егерь дядя Тима сказал Коля, когда дочитал фельетон. — Здорово!

Я помолчала и предложила:

— Пойдем к нам... Пообедаем вместе.

— Я вообще-то не голодный, — ответил Коля. — А твои родители уже дома?

— Нет, — сказала я. — Мы пообедаем вдвоем.

Коля повеселел и ускорил шаги. Я еще прежде замечала, что он стесняется моей мамы. Да и папы тоже.

Дома я сказала Коле, чтобы он помыл руки, и неожиданно для самой себя вдруг решила:

— Сейчас приготовим бульон с яйцом. Будешь есть?

— Давай, — ответил Коля. — Мне все равно.

— А на второе — макароны с мясом. Это называется "по-флотски". Нужно их только разогреть на сковородке.

Бульон с яйцом мне не удался — почему-то свернулся белок, и в бульоне плавали хлопья. Но Коле это блюдо очень понравилось, и когда я предложила ему добавки, он сказал: "Давай".

За обедом он снова вспомнил о фельетоне и заметил:

— Нужно было купить две газеты. Чтоб матя почитала.

— Можешь взять, — ответила я. — Папа принесет еще газет. Он всегда приносит, если там напечатана его статья.

— Спасибо, — сказал Коля, когда мы доели все макароны. — Я пойду. Я еще домой должен зайти, отнести авоськи... А потом мы с Витей задумали одну штуку...

Он встал из-за стола и тихо, чуть-чуть подергал меня за косичку. Мне очень хотелось растрепать ему волосы, но сейчас я почему-то не решилась это сделать.

Коля ушел, а я помыла посуду и села за уроки.

Теперь мы готовили уроки по очереди — один делает, а остальные у него потом списывают. Даже Лена Костина списывала алгебру у Сережи и удивлялась потом, почему у задачи не сходится ответ.

Я еще не успела закончить уроки, как вернулись с работы мои родители. Очевидно, папа зашел за мамой в ее проектное бюро.

— Скорее, — сказала мама, — одеваться! Лялька! Надень красный пуловер, который я тебе привезла из Ленинграда. Он тебе идет. Поедем в ресторан и устроим пир на весь мир. Умираю от голода.

Они были очень веселы, папа смеялся и ткнул меня пальцем в живот.

— Я не поеду, — ответила я. — Я уже обедала. И я еще не сделала уроков.

— Ну и ну! — закричала мама из кухни. — Лялька объелась макаронами. Но от мороженого и шампанского ты, конечно, не откажешься. А уроки сделаешь потом.

— Нет, — сказала я. — Я не поеду.

Папа посмотрел на меня с веселым удивлением. Очевидно, он не мог понять, как человек может отказаться от мороженого. И от шампанского.

— Ты видела газету? — спросил он. — Там фельетон. И, на этот раз, говорят, смешной.

— Смешной, — согласилась я. — Только ты сам говорил прежде, что не понимаешь, как над этим можно смеяться.

— Вот оно что! — прищурился папа. — Можно, Оля. И нужно. Над подлостью, над жадностью, над тупостью, может быть, действительно не стоит смеяться, пока они действуют. Но когда их преодолели, когда их победили, над всем этим необходимо смеяться. Победители всегда смеются...

Я подумала, что иногда смеются и побежденные, только не сказала этого вслух.

— А ты в самом деле больше не будешь писать фельетонов? — спросила я.

— Буду, — ответил папа. — Это просто литературный прием. Ведь то, что сегодня напечатано, — это и есть фельетон. А кроме того, я готовлю еще одну бомбу... И врежу — с нездешней силой... Собирайся же, Оля.

— Нет, нет, — повторила я. — Я не поеду.

— Никто так не умеет испортить радости, как наша дочка, — процедила мама сквозь зубы, в которых держала шпильки. Она причесывалась. — Поедем, Коля, а она пусть сидит дома. Да и вообще, где это видано — таскать детей по ресторанам?..

Я ничего не ответила и снова уткнулась носом в учебник физики.

Как скоро люди все забывают! И мама, и папа уже не помнили, что у Коли погиб отец.

Мама недавно говорила папе, что теперь у нас снова все благополучно, что пора уже забыть

обо всех этих неприятностях, пора жить нормально и смотреть на окружающее нормально, что нельзя из-за отдельных случайностей, которые неизбежно бывают со всяким, озлобляться и смотреть на мир сквозь черные очки.

Но у нас не было все благополучно, и в этом мире не было все благополучно, если Колиного папу убили, если Колина мама больше не плакала, а постоянно улыбалась этой своей приклеенной улыбкой, если Коля все время ежился, как от холода.

Когда мои родители ушли, я снова подумала, что смеются не обязательно победители. Я стала перед зеркалом и попробовала посмеяться. Я смеялась, но мне даже самой было немножко страшно — такое у меня было ненормальное выражение лица и такой дурацкий смех.

И все-таки я проявила силу воли: отказалась от мороженого, которого мне очень хотелось, и не заплакала, а посмеялась над своими огорчениями.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В этой семье — все юмористы. Наташка ходит, как Чарли Чаплин — носки у нее смотрят в стороны. Мы вместе с ней шли в школу, я сегодня вышла пораньше.

— Кем ты будешь, когда вырастешь? — спросила я у Наташки.

— Кондуктором, — ответила она, не задумываясь. — Почему?

— Говоришь людям, где выйти... И много денег.

— Не очень много, — возразила я.

— Очень, — сказала Наташка. — Я видела. Оказывается, она считает, что кондуктор все деньги, которые получает от пассажиров и кладет в сумку, берет себе.

— А я знаю, какой будет фокус, — искоса поглядела на меня Наташка. Только не скажу.

— Ну и не надо.

Если бы я попросила: "Расскажи", может быть, Наташка и промолчала бы.

— С яйцом, — таинственно прошептала Наташка. — Он наливает в бутылку воду — и вдруг там яйцо. Но я не знаю, как он его туда засовывает...

Сегодня у нас на последнем уроке — химия. Это лучший день недели. После урока весь класс остается в химическом кабинете. Евгения Лаврентьевна рассказывает интересные вещи о химии и о химиках. А теперь к этому уроку ребята готовят химические фокусы и показывают их. А потом рассказывают, в чем секрет. Что собирался показать Сережа, я уже узнала от Наташки.

У Евгении Лаврентьевны на столе лежала книга с закладками. Я посмотрела издали и, хотя буквы были перевернуты, прочла: "Конан Дойль. Избранные произведения". Вот, значит, чем увлекалась Евгения Лаврентьевна! Я вспомнила страшный рассказ этого писателя о пляшущих человечках и подумала, как было бы здорово, если б Шерлок Холмс примкнул к нашей компании. Он бы, наверное, быстро разобрался в нашем деле.

Евгения Лаврентьевна сказала:

— Когда мы изучали закон сохранения массы, мы с вами сожгли в колбе немного фосфора, и при этом образовалось новое вещество — фосфорный ангидрид в виде белого дыма. Вы также видели, как светится фосфор при окислении на воздухе. Но это свечение фосфора создает иногда у людей неправильное представление. Вот что пишет ваш любимый писатель Конан Дойль в "Собаке Баскервиль".

Евгения Лаврентьевна раскрыла книгу там, где она была заложена полоской бумаги.

— "Да! Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение, более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана". А дальше вот что говорится уже об убитой собаке: "Ее огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. "Фосфор", — сказал я".

Этого не могло быть. Фосфор на воздухе не только светится, но и загорается — собака просто изжарилась бы, если б ее шерсть смазать раствором фосфора в летучей жидкости шш опылить фосфором. Кроме того, фосфор еще и ядовит. И достаточно было в пасть этой собаке Баскервиль попасть одной десятой доле грамма, чтобы она отравилась и немедленно погибла.

Все это я говорю к тому, — улыбнулась Евгения Лаврентьевна, и я снова подумала, какая она красивая, — что в седьмом "Б" появился юный химик, который вздумал свою таксу превратить в собаку Баскервиль. Так вот запомните, что фосфор для людей еще более ядовит, чем для собак.

После урока Евгения Лаврентьевна села на стуле сбоку у своего стола, ближе к окну, и объявила:

— А сейчас поглядим, чем нас удивит сегодня Сережа.

Сережа вышел к столу и попросил две колбы с узкими горлышками. С важным и серьезным видом он налил в одну колбу воду, потом перелил эту воду в другую колбу, снова перелил в первую, а затем опять вылил воду во вторую. Пустую колбу он несколько раз встряхнул в руках.

И вдруг на наших глазах в колбе появилось куриное яйцо. Это было так здорово, что все просто ахнули, а я толкала Колю и Витю в бока — они сидели по сторонам от меня, — потому что мне казалось, что они недостаточно восхищаются.

— Интересно, — сказала Евгения Лаврентьевна. — Очень интересно. Ну, кто же скажет, в чем тут секрет?

Все молчали.

— Он выпустил яйцо из рукава, — сказала Нечаева.

— Разве ты не видишь, что яйцо в два раза шире горлышка колбы, возразила Евгения Лаврентьевна.

— Пусть даст колбу в руки, — потребовал кто-то из ребят.

— Нет, — сказал Сережа, — ты так отгадай. В этом как раз и фокус.

— Значит, никто не знает, — встала Евгения Лаврентьевна. — Я тоже не могу догадаться. Это в самом деле похоже на чудо. Придется, Сережа, тебе самому рассказать, как ты это сделал и какие химические законы ты для этого использовал.

Мне, конечно, было очень любопытно узнать, в чем состоял секрет этого фокуса. И все-таки мне было немножко жалко, что это сейчас станет известно мне хотелось хоть некоторое время считать, что на свете бывают чудеса.

Сережа рассказал, что он сделал иголкой две тоненькие дырочки в обыкновенном яйце — одну на заостренном конце, а другую на тупом. Затем он стал втягивать в себя ртом это яйцо, и, хоть он не любит сырых яиц и ему было противно, он все равно его выпил. Пустую скорлупу он положил в стакан и залил ее обыкновенным уксусом...

Химическим этот фокус являлся потому, что яичная скорлупа полностью растворяется в уксусе, правда, ее для этого нужно продержать в стакане два дня. Когда яйцо растворилось, осталась только оболочка — тонкая пленка, находящаяся под скорлупой. Эту оболочку Сережа незаметно зажал между пальцами и бросил ее в колбу. Когда он вылил воду, оболочка осталась в колбе. Затем он встряхнул колбу, и оболочка через сделанные иголкой дырочки наполнилась воздухом и приняла форму яйца. Надо сказать, что эта оболочка была настолько похожа на настоящее яйцо, что мне и после Сережиной) объяснения не верилось, что это только оболочка.

Евгения Лаврентьевна рассказала нам, почему уксус растворяет известь, и привела еще пример с легендой о египетской царице Клеопатре, которая будто бы растворила в уксусе драгоценную жемчужину и выпила этот раствор.

После этого мы еще посмотрели фокус, который подготовил Витя. Он повесил к железной подставке для пробирок четыре листика белой бумаги и поджег их. Один из этих листиков горел желтым огнем, второй — голубым, третий — красным, а четвертый — зеленым. Ну, в этом фокусе ничего таинственного не было, все сразу поняли, что бумага чем-то пропитана.

Витя рассказал, чем именно он пропитывал бумагу, но я всего не запомнила... Синее пламя дала азотнокислая медь, а красное — азотнокислый стронций. Мы испытывали эти реактивы как катализаторы, но я тогда не знала, что они окрашивают пламя.

Когда мы уже расходились, Евгения Лаврентьевна сказала:

— А ты, Оля, останься еще на несколько минут. Я хочу с тобой поговорить.

— Я тебя подожду внизу, — шепнул мне Коля, почти не разжимая губ.

— Как у тебя дела, Оля? — спросила Евгения Лаврентьевна. — Что дома?

— Нормально, — ответила я. Евгения Лаврентьевна поморщилась.

— А с товарищами?

— Нормально.

— Ты, Оля, — сказала Евгения Лаврентьевна, — пишешь стихи. Значит, ищешь самые лучшие слова для того, чтобы выразить мысль. И уж ты могла бы не употреблять этого пустого, бессмысленного слова "нормально". Что значит "нормально"?

Меня теперь часто попрекали стихами. На днях Елизавета Карловна говорила, что девочка, которая пишет стихи, могла бы не писать в своих домашних сочинениях в каждой фразе по два раза слово "который".

Но что другое, кроме "нормально", могла я сказать даже Евгении Лаврентьевне? Я молчала.

— Вот что, Оля, — продолжала Евгения Лаврентьевна, — мне кажется, что ты себя ведешь неправильно. Я понимаю, как тяжело ты переживаешь смерть Колиного отца. Я знаю, что у тебя доброе сердце. Но ты, по-моему, начала сердито смотреть на всех людей, которые не переживают вместе с тобой и Колей, которые заняты своим делом и, делая его, смеются, шутят, радуются. А это уже нехорошо. Кроме того, люди, несмотря на переживания, должны добросовестно делать свою работу. А ты запустила учебу... Я у тебя больше ничего не хочу спрашивать, раз ты мне отвечаешь словом "нормально". Но подумай об этом. А теперь пойдём... — Евгения Лаврентьевна посмотрела на меня и чуть улыбнулась: — Нет, ты пойдёшь сама, а я ещё задержусь на несколько минут.

У выхода из школы меня ждал Коля.

— Что она говорила? — спросил он подозрительно.

— Ничего. Все нормально, — ответила я.

Некоторое время мы шли молча, а потом Коля спросил:

— Твой батя все еще собирает консервные ножи?

— Собирает.

— А зачем это ему?

Я обиделась за папу и сказала, что человек может собирать какую угодно коллекцию, собирают же марки, и есть специальные филателистические магазины, и бывают марки (я читала), которые стоят тысячу рублей. А что такое эта марка, даже за тысячу рублей? Кусочек бумаги. А любым консервным ножом из коллекции можно при случае хоть консервы открыть. И вообще, по-моему, люди искусственно создают себе ценности вроде этих марок, или жемчуга, или даже золота. Чем настоящий жемчуг лучше искусственного? Тем, что его можно растворить в уксусе? Или золото? Просто желтый металл. А за него воевали.

— И уж коллекция консервных ножей лучше коллекции марок, каждый нож имеет свою настоящую ценность, а не выдуманную.

— Да нет, я ничего, — удивился Коля моей горячности. — Я просто нашел такой старый консервный нож. С двумя колесиками. — Коля вынул нож из кармана. — Если у вас в коллекции нет такого...

— Спасибо, — сказала я и взяла нож. Коля проводил меня до самого моего дома.

— Так ты сегодня не придешь? — спросил он нерешительно.

— Нет, — ответила я. — Не смогу. Сегодня мама придумала генеральную уборку. Она говорит, что я не слежу за порядком, и я должна ей помочь. Завтра увидимся.

Утром Коли и Вити не было на первом уроке, и я очень волновалась. Что с ними могло

случиться? Они пришли к самому началу второго урока, и тут открылась одна странная и страшная штука.

Мы все считали их шпионами. Я не помню, кто это первым сказал. Кажется, Женька Иванов. Но про себя я не думала, что они шпионы. Про себя мне все это казалось такой игрой, в которой все договорились между собой относиться к ней всерьез, а если кто-нибудь отнесется не всерьез, то этим он обидит остальных.

Но теперь, когда я посмотрела на Колю и Витю, я подумала обо всем этом по-другому. Они были какие-то очень измученные, и очень встревоженные, и очень растерянные.

Витя на переменке собрал нашу компанию и сказал, что они с Колей выяснили, для чего эта женщина ходила в мастерские "Титан". Она ходила туда к дяденьке, которого я сразу вспомнила. Такой лысый, похожий на доктора. Он еще на поминках говорил, что был с Богданом Осиповичем в разведке, и Богдан Осипович стрелял, а они отходили.

— Его фамилия Соколов, — сказал Коля.

— Но ведь он фронтовой друг твоего отца... И неужели ты думаешь?.. спросила я.

— Еще неизвестно, какой он друг, — вмешался Витя. — Коля говорит, что он к ним раньше заходил только один раз. Может быть, он и является резидентом.

— А как он оказался в "Титане"? — спросила Лена.

— Кажется, он там работает, — ответил Витя. — Это мы должны выяснить.

— Но ведь ты с ним советовался, — сказала я Коле. — Спрашивал у него про фронтовых друзей твоего папы.

Коля поежился, как от холода, а Витя сказал, что это-то и плохо, потому что Коля, возможно, насторожил этого резидента.

— Теперь, — сказал Витя, — мы должны установить за мастерскими "Титан" такое наблюдение, чтобы ни одна птица не могла пролететь незаметно.

После школы Витя нарисовал схему, где какие посты у нас будут расположены, и как пост с постом должен связываться.

Я в этот день дежурила с Женькой Ивановым. По дороге я купила три горячих пирожка с мясом, полтора пирожка дала Женьке, а полтора съела сама. Вообще, когда мы дежурили, мне всегда хотелось есть, должно быть, от волнения, я часто покупала пирожки и всегда вспоминала какую-то детскую сказку про медведя:

Сяду на пенек

Съем пирожок...

Мы с Женькой стали на углу возле артели, там, где отметил это на своей схеме Витя. Но стоять там было как-то неловко, нам казалось, что все прохожие обращают на нас внимание, и мы начали прохаживаться взад и вперед и разговаривать о том, что летать на индивидуальных птицелетах в условиях города будет все же очень трудно, потому что здесь, в воздухе, много проводов: и троллейбусных, и трамвайных, и просто всяких электрических, и что птицелет

может натолкнуться на эти провода, произвести короткое замыкание тока и загореться.

— Нужно будет, — предложил Женька, — устроить на крышах самых высоких зданий посадочные площадки для птицелетов, вроде таких стоянок, как это теперь делают для автомашин.

Человек сможет туда прилететь, оставить там свой птицелет, пойти в магазины за покупками или, скажем, на рынок, а потом снова подняться на крышу и полететь, куда ему нужно.

Так интересно беседуя, мы шли в сторону трамвайной остановки и увидели там на своем посту Колю. Женька ему помахал рукой, но Коля сделал вид, что он нас не замечает.

В это время к краю тротуара подъехала серая "Волга", из "Волги" вылез какой-то высокий человек в шляпе и очках. Он подошел к Коле, что-то сказал ему и потащил за руку в автомашину. Коля сопротивлялся, но он его тащил.

Мы очень испугались и бросились к Коле, но Коля уже был в машине, и пока мы добежали, она тронулась, и тогда мы подбежали к другой "Волге", которая стояла немного впереди. В ней за рулем сидел какой-то совсем молодой водитель и читал книжку.

— Пожалуйста, — закричала я, — скорее! Вон за той машиной, серой! Скорее! Они увезли Колю, нашего товарища!..

Мы оба забрались в машину на переднее сиденье рядом с шофером.

— За какой машиной?.. Вы что, сбесились? Что вам тут... — сказал водитель, но его прервал Женька.

— Дяденька! — закричал он. — Скорее! Они его убьют! Они убили его папу и его тоже убьют!

Женька плакал и кричал это так, что водитель включил мотор, и мы помчались. И только тогда водитель спросил, какая машина.

— Серая! — закричала я. — Вон она!.. В ней какие-то бандиты... — Я не решилась сказать — шпионы. — Они убили Колиного отца. Он был милиционером. А теперь они Колю схватили...

Мы проскочили через перекресток, и я увидела, что мы летим прямо на такую огромную, покрытую алюминиевыми листами машину-холодильник, и я закрыла глаза, а водитель выругался, и уже этот холодильник оказался сзади, и мы мчались по горе вверх, и мы уже догоняли серую "Волгу", которая увезла Колю, но шофер опять выругался, потому что эта серая "Волга", как бы почувствовав погоню, прибавила скорость и стала уходить, а шофер сказал, что карбюратор барахлит.

И тут я услышала, что мотор в самом деле работает как-то не так, но мы все-таки уже взобрались на гору, и на Крещатике мы обогнали эту серую "Волгу", и я увидела в ней Колю и закричала: "Вот он!", а наш водитель резко затормозил перед самым носом той серой "Волги" и схватил в руки такой большой ключ, которым завинчивают гайки, и выскочил из машины. А мы — за ним. А тут еще засвистел в свисток и подбежал к нам милиционер, и еще какие-то люди, и милиционер закричал на нашего водителя: "Хулиган! Брось ключ!", а водитель сказал: "Там бандиты".

И из серой "Волги" тогда вышли два каких-то человека, а за ними вышел Коля, и один из этих людей что-то сказал милиционеру и показал ему красную книжечку, и милиционер сказал

людям, которые уже собрались вокруг нас: "Расходитесь, расходитесь, граждане", а наш водитель, не выпуская из рук этой своей железной штуки, спросил, в чем дело, и тогда один из этих людей, высокий дяденька в очках и в шляпе, который тащил Колю в машину, отозвал водителя в сторону и стал что-то говорить, и я услышала слово "прокуратура". А Коля подошел к нам и сказал, что этот дяденька в очках и есть тот самый следователь.

Следователь подошел к нам и, покачивая головой, сказал, что ему придется и нас забрать с собой, а водитель, покачивая головой, сказал: "Ну и ребята!", а милиционер, тоже покачивая головой, сказал, что хорошо, что хоть обошлось без аварии.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я прижалась ухом к стене и послушала музыку. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире — вход в нее из другого подъезда вечером всегда негромко играет радио. Сейчас радио играло очень хороший твист, похожий на детскую считалочку, и с такими же непонятными словами, вроде "зне, бене, раба — винтер, квинтер, жаба".

А над моей постелью висел в деревянной рамке портрет Шевченко, вырезанный на черной лаковой доске. Мне его не было видно в темноте, но я знала, какой он, и как он смотрят запавшими глазами из-под низко надвинутых бровей, и как обвисли у него усы.

Я снова написала стихи про Шевченко. Я написала белые стихи — мне к ним не нужны рифмы.

Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда его держали в Кос-Арале,
И муштровали под казахским солнцем,
И запрещали даже рисовать.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда он видел, как сквозь строй проводят,
И слышал, как с глухим и страшным звуком
Отскакивают палки от спины.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда вельмож он видел украинских,
Своих же братьев давящих и рвущих
Почище всяких турков и татар.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко.
И как его завет я повторяю
Одно-единственное это слово:
Ненавиджу*.

*) Ненавижу (укр.)

Я ненавижу! Ненавижу всех, кто может для своей пользы убить человека... Из-за денег... Или из-за вещей. Или из-за того, что этот человек иначе думает. Покритиковал их.

Я их ненавижу!

Мы следили за ними, как будто они шпионы. Но они хуже шпионов. Потому что шпионы все-таки стараются принести пользу своему государству. Я понимаю, что за шпионами нужно следить и нужно их ловить, но их можно понять. В конце концов, Зорге, замечательный герой, которым мы гордимся, был нашим агентом, а фашисты его, наверное, называли советским шпионом.

Нет, такие люди, как этот лысый Соколов, в тысячу раз хуже всякого шпиона. И они живут рядом с нами, и их видят и не догадываются, кто они на самом деле, или догадываются, но молчат. А когда такие смелые люди, как Колин пана, говорят об этом, то они им мстят и хотят их убить и даже убивают. Я когда-то написала школьное сочинение про золото. Но я тогда даже не догадывалась, как я в нем все правильно написала. У Соколова дома в батарее отопления нашли целый склад золота — там лежали кольца и золотые цепочки, и монеты, и даже золотые зубы, и все это он прятал в батарею не случайно, а потому, что, оказывается, он был очень хитер и знал, что есть такой прибор с наушниками, и если этим прибором водить возле пола или возле стен, то там, где спрятан металл, в наушниках начнется писк, а батарея металлическая, и возле нее прибор все равно будет пищать, и никто не догадается, что там что-то спрятано.

Но для чего этому человеку нужно было золото? К тому же он все равно держал его в батарее. Но чтобы сохранить золото и чтобы добавить в эту батарею еще несколько колец или зубов, он убил Колиного отца, Богдана Осиповича.

Нам рассказал обо всем этом следователь. А потом еще мой папа. А потом об этом писали в "Вечернем Киеве".

Следователь на нас очень сердился. Мы, оказывается, ему здорово помешали, и Колю он увез тогда потому, что с Колей, еще школьником, еще, в конце концов, мальчиком, — хотя он высокий и с большими бицепсами, — могли расправиться, как с его отцом.

Следователь с самого начала знал, что Колиного отца нарочно убили, но он специально сказал, что Богдан Осипович в нетрезвом состоянии попал под трамвай, чтобы усыпить бдительность преступников. Для этого он сказал также, чтобы Колиной маме пока не давали пенсию, а Коля и вся наша компания очень ему помешали, потому что мы насторожили этих преступников. Они, оказывается, даже знали, что мы за ними следим, хотя как они об этом догадались, я понять не могу. Тем более, что мы, в основном, следили за медсестрой Верой Старостенко, а эта Старостенко в мастерские "Титан" ходила случайно, к своей знакомой, и никакого отношения к преступникам не имела, а, наоборот, была хорошей женщиной, и на похороны Богдана Осиповича она пришла потому, что он ей когда-то очень помог, а в чем Колин отец ей помог, я так и не узнала...

— И все-таки, ребята, — сказал нам следователь, — если вы после школы пойдете учиться дальше по нашей части, то количество неразгаданных преступлений в этом мире очень уменьшится.

Витя потом говорил, что мы были на правильном пути, и если бы мы продолжали слежку, то мы бы и без милиции разоблачили эту преступную банду, и что ему все в этом деле совершенно понятно. А мне до сих пор это не совсем понятно. Особенно, как это началось. Есть какие-то инкассаторы, что ли, которые увозят в банк деньги из разных магазинов, и Колин; папа во время своего милицейского дежурства несколько раз замечал, что в один маленький магазин на Владимирском базаре — это даже не магазин, а такая зеленая будка, там много таких на базаре, — то ли не приезжал такой инкассатор, то ли приезжал другой инкассатор, я так и не поняла, но, в общем, что-то там показалось Богдану Осиповичу подозрительным, и он выяснил, чей это магазин, и оказалось, что этот магазин получает товары из мастерских "Титан". И тогда он пошел в этот "Титан", чтобы выяснить, что это такое.

Витя говорил, что вообще-то он должен был сразу сказать в милиции про свои подозрения, но так как эти мастерские были в другом районе, то он, наверное, хотел сначала понять, в чем там дело, а потом уже сказать.

И вот Богдан Осипович, оказывается, встретил в этих мастерских своего знакомого Соколова, который там работал начальником. Этот лысый Соколов никогда не был с Колиным папой в разведке, а он только лежал с ним в госпитале и там слышал от Богдана Осиповича про разведку. Я думаю, что он даже в госпитале лежал совсем не потому, что был ранен, а, может быть, потому, что был чем-нибудь просто болен, например ангиной, но это точно не известно. И этот Соколов сказал Колиному папе, чтоб Колин папа не сообщал о магазине, что он сначала сам в этом разберется, а потом Соколов пришел к ним домой, а потом позвал Колиного папу в мастерские. И там он и другие, как сказал следователь, сообщники — их было четыре человека — стали уговаривать Богдана Осиповича, чтобы он принял участие в их преступлении.

Они, оказывается, делали в этих мастерских всякие кожаные пояса, и ремешочки для часов, и сумочки, и небольшие чемоданчики. Но все это они отдавали не нашему государству, а продавали через продавцов, которые им помогали, а деньги они делили между собой. И денег они получали очень много, огромное количество. Я никогда даже себе не представляла, что эти ремешки и сумочки так дорого стоят, но Витя подсчитал на бумажке, и вышло, что они получили миллион рублей.

И когда Колин папа, Богдан Осипович, отказался продать свою честь и совесть за деньги, они его схватили и ударили по голове, и влили в него почти бутылку водки, чтобы замести следы своего преступления, и засунули в карман сигареты, а так как он был еще живой, то этот Соколов железным молотком снова несколько раз ударил Богдана Осиповича по голове. А потом они отнесли его и бросили на рельсы, чтобы его разрезало трамваем и уже никто не мог ничего узнать.

И все-таки я ничего не понимаю. Ведь я сама слышала, что говорил этот лысый Соколов на поминках Колиного папы. Он лучше всех сказал про Колиного папу, которого сам убил. И он приходил на похороны. Значит, его не мучила совесть. Значит, эти золотые кольца и эти золотые зубы, которые он держал в своей батарее, были для него в тысячу раз дороже, чем человеческая жизнь. А разве может кусок желтого, менее полезного в хозяйстве металла, чем железо, из которого сделана батарея, быть дороже человеческой жизни?

И как горько мне теперь думать, что я так мало знала Богдана Осиповича, мало его видела, не сделала ему ничего приятного, а Елену Евдокимовну я люблю еще больше, чем прежде, я очень люблю ее и знаю, какой трудной была ее жизнь, что ее отца фашисты расстреляли у нее на глазах, а я думала о том, что было бы со мной, если бы фашисты на моих глазах расстреляли моего папу, и она была на войне, и тащила под огнем раненых, и сама была ранена, а я думала о том, смогла бы я не бояться и тащить под огнем раненых.

Но все равно, все несчастья, которые были в жизни Елены Евдокимовны, все трудности она переживала для того, чтобы людям было лучше и чтобы все в нашей стране было как следует, было по правде.

Я очень люблю моего папу, и очень люблю мою маму, и очень люблю Елену Евдокимовну, и очень люблю Юрия Митро-фановича — дяденьку с палкой, которого Елена Евдокимовна вынесла на себе из огня, — и еще очень многих людей. И я еще напишу стихи о том, как я их люблю, и что, когда я вырасту, любой из тех, кого я так люблю, сможет прийти ко мне, когда захочет, и я буду готова поделиться с ним всем, что у меня есть. И каждое слово в этих стихах будет правдой.

И я ненавижу этого Соколова и тех, кто расстреливает коммунистов в Испании, и тех, кто убивает женщин и детей в колониальных странах.

Ненавижду!

Мы с ребятами снова добываем реактивы, делаем химические опыты и мечтаем о своем птицелете. И я верю — мы еще полетим на птицелете над нашим хорошим Киевом.

Но я и все наши ребята многое теперь поняли. Мы поняли, какими нужно быть. И мы будем такими.

mir-knigi.org